

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

Том 2, № 1, 2002

S O C I O L O G I C A L
R E V I E W

Московская школа социальных и экономических наук

Центр фундаментальной социологии

Социологическое обозрение

Том 2. № 1. 2002

Интернет-версия журнала на сайте www.sociologica.ru

Главный редактор – Филиппов Александр Фридрихович
Ответственный секретарь – Пугачева Марина Геннадиевна
Редактор сайта – Еремин Сергей Петрович
Литературный редактор – Щадилова Каринэ Акоповна

Адрес редакции: mail@sociologica.ru

Журнал выходит четыре раза в год.

Проект осуществляется при финансовой поддержке
Национального фонда подготовки кадров.

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬИ И ЭССЕ

Валентина Федотова

Европейский «третий путь» и его символическое значение
для России и других стран 3

Марина Ковалева

Эволюция понятия «риск» 19

РЕФЕРАТЫ

Майкл Манн

Глобализация и 11 сентября 28

Степан Мештрович

Энтони Гидденс. Последний модернист 36

ПЕРЕВОДЫ

Гарольд Гарфинкель

Исследование привычных оснований повседневных действий 42

РЕЦЕНЗИИ

Лариса Романенко

Специфика и перспективы современной российской
экологической политики (Яницкий О.Н. «Россия: экологический вызов
(общественные движения, наука, политика)») 71

Александр Филиппов

Пьер Бурдьё. Практический смысл. 76

Андрей Ашкеров

Метаистория метаистории, или Декодирование Хейдена Уайта
(Уайт Х. «Метаистория: Историческое воображение
в Европе XIX века») 87

IN MEMORIAM

Нина Федоровна Наумова 100

Интервью с Н.Ф.Наумовой «Мне трижды повезло...»

(Пугачева М.Г., Ярмолюк С.Ф.) 101

СТАТЬИ И ЭССЕ

Федотова В.Г.

ЕВРОПЕЙСКИЙ «ТРЕТИЙ ПУТЬ» И ЕГО СИМВОЛИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РОССИИ И ДРУГИХ СТРАН

Последнее десятилетие Россия переживает тяжелый процесс реформирования. В значительной мере его трудности связаны с серьезными социальными трансформациями мира в целом, которые делают неприемлемыми ни классические схемы модернизации, ни традиционное следование политике правого или левого толка.

В этих условиях России полезен мировой опыт, в частности, то, что необходимо воспринять как символ переустройства. Сегодня многие западные страны выбирают «третий путь» развития. Канцлер ФРГ Г. Шредер называет его серединным. В этом выборе предлагается новая трактовка модернизации и предпринимается попытка преодолеть противостояние левых и правых сил. Именно политический центризм становится символом времени, перестраивающим социально-политическое пространство.

На какие вызовы Западу отвечает концепция «третьего пути»

«Третий путь» реализуется в ряде случаев на основе теоретического проекта. Примером может служить теоретическая деятельность известного британского социолога, директора Лондонской школы экономики и политики Э. Гидденса, подготовившего своими исследованиями переход Т. Блэра к новому лейборизму и «третьему пути».

Концепция «третьего пути» явилась ответом Запада на глобализацию, мировой свободный рынок, информационную открытость и функционирование этого рынка в электронном виде. Глобализация стерла границы между государствами для капитала, товара и информации и поставила перед ними новые проблемы.

Оценивая дискуссии по проблемам глобализации, Гидденс выделяет среди их участников *скептиков* и *радикалов* [13, р.20-35]. Первые не согласны с тем, что глобализация представляет собой нечто принципиально новое, считают, что термин «глобализация» мистифицирует существовавшие ранее тенденции роста мировой экономики. Радикалы, напротив, констатируют наличие совершенно нового процесса, несводимость глобализации к экономике и превращение ее в главенствующую тенденцию развития всего мира. Важно то, что скептики и радикалы представляют взгляды, выражающие позиции левых и правых. Скептики всегда слева, радикалы – справа. Гидденс называет себя радикалом, отмечая тем самым позицию в правой части политического спектра, которую он занимает благодаря своему выбору. Одновременно он обозначает и свои позиции слева. Однако решительное заявление относительно радикализма делает концепцию «третьего пути» уязвимой для критики, и такая критика

Федотова Валентина Гавриловна – доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии РАН, руководитель Центра методологии социального сознания

© Федотова Валентина Гавриловна

© Центр Фундаментальной Социологии, 2002 г.

действительно существует. Она обвиняет сторонников «третьего пути» в предательстве левой идеи и в переходе на правые позиции [12; 14, p.9, 19, 22-26;15].

Место Гидденса на правом фланге определяется тем, что он считает невозможным игнорировать свершившийся факт глобализации и вызовов, которые она бросает самому Западу. Речь идет именно о полезности «третьего пути» для *Запада, и особенно для англосаксонского мира*. Перспективность этой модели для континентальной Европы и других стран впоследствии так же стала предметом дискуссии. Реакция на вызовы глобализации Западу и привела к появлению новых лейбористов и других сторонников «третьего пути». Новое в их левой позиции состоит в том, что они, полагая невозможным отказаться от новой модернизации – перехода к обществу с всемирным открытым и электронным рынком, предлагают совокупность принципов и политических мер, которые могут скорректировать и гуманизировать этот процесс в его воздействии на Запад, так и в конечном итоге на мир в целом.

При оценке отношения Гидденса к глобализации полезно выделить еще одну линию реакции. В литературе она называется трансформационалистской [17, p.10]. Сторонники этой линии, считая глобализацию новым типом социальной трансформации, воспринимают ее как незавершенную и способную изменить свой характер под влиянием объективных обстоятельств, нелинейности современных социальных процессов, а также вследствие политики, направленной на преодоление ее недостатков. Трансформационалист не может сказать, что глобализации нет, что она насаждается или является чистым инструментом западной гегемонии. Для него она есть, причем как объективное явление, итог пятисотлетнего возвышения Запада и модернизации, как ответ остального мира на этот процесс. Но он также не может сказать, что глобализация всегда будет такой, как сейчас. Поэтому, на деле Гидденс – *трансформационалист*, а не радикал. Он объявляет себя радикалом только для того, чтобы отойти от старых левых, заняв позицию на правом фланге, которая определяет и его место на левом – центристскую позицию. Центризм не кажется Гидденсу ни поражением, ни оборончеством. Он соответствует, по его мнению, объективной логике сегодняшних социальных процессов.

Укажем в этой связи на несколько важных моментов. До 11 сентября Запад не представлял в должной мере, с какими внешними вызовами он столкнется. Считалось, что отсутствие альтернативы западной политической модели устраняет для Запада внешние угрозы, но увеличивает внутренние [19, p.261]. Аргументы, на основании которых отрицались внешние угрозы, звучали весьма убедительно: в 1790 г. было две-три демократических системы; в 1920 – десяток несовершенных демократий; в 1950 – 20 стран стремились стать демократиями, не особенно задумываясь о ее качестве; в 1999 – «этикетка» демократии потребовалась большинству человечества, за исключением некоторых стран. К этому (до террористических актов в Нью-Йорке и Вашингтоне) можно было бы добавить, что антиглобалистские движения являются разрозненными и слабыми, они не имеют единой цели. Альтернатива, предлагаемая единственной системной оппозицией – исламскими радикалами – не перспективна ни для человечества, ни для самого исламского мира, хотя, как стало очевидно впоследствии, именно она сделала внешние угрозы соизмеримыми со внутренними. Но сторонники «третьего пути» не задумывались о них и рассуждали только о внутренних угрозах Западу, к которым были отнесены коренные изменения в мире.

В 1984 г. американский исследователь Дж. Несбит в своей знаменитой работе «Мегатренд. Десять новых направлений трансформации нашей жизни» утверждал, что человечество ожидает переход:

- от индустриальной экономики к информационной;
- от развитых технологий, к высоким;

от национальной экономики к мировой;
от краткосрочных процессов к долгосрочным;
от централизации к децентрализации;
от институциональной помощи к самопомощи;
от представительной демократии к партиципаторной (демократии участия);

от иерархии к сетям;
от Севера к Югу;
от выбора «или/или» к многообразию возможностей и выбору «и/и», т.е. «и то/и другое» [22, р.ХVII]. Сравним этот прогноз с происходящими сегодня изменениями, приводимыми в статье Мени:

от рациональной унитарной культуры к креолизации (овосточниванию. – В.Ф.) глобальной культуры;

от политической эмансипации к политике «жизненного стиля»;
от равенства к различиям;
от организации, иерархии к реорганизации, сетям;
от рациональности к рациональностям («мы все теперь туземцы»);
от фиксированной идентичности к ее флуктуации и плюрализации;
от гарантированной репрезентации к проблематизации репрезентаций, миру *ad hoc*;

от конца идеологий к вариации жизненных стилей и убеждений;
от прагматизма в политике к фундаментализму в политике [19, р. 260].

Если прогноз Несбита по большинству позиций представляется самоочевидным, то многие из добавленных здесь новых различий выглядят парадоксальными. Именно в то время, когда ослабляются все прежние основания, в политике нарастает фундаментализм. Это значит, что при всех изменениях сохраняются базовые принципы поддержания порядка государством и действием социальных норм.

Разрушение иерархии и организации, устремленность капитала туда, где выгодно, без оглядки на интересы государства, изменения в гражданском обществе и демократии, технологические сдвиги, изменение в характере труда и невозможность полной занятости, изменение института семьи, многообразие стилей жизни оказались такими факторами настоящего и будущего, которые требовали ответа.

Старая реальность еще не исчезла, а новая едва родилась. Но перемены действительно не менее существенны, чем при переходе от Средневековья к Новому времени, от традиционного общества к современному.

Для сторонников «третьего пути» новое состояние, охватываемое термином «глобализация», предстает как переход *в новую современность*. Классическая модернизация представляла собой переход от традиционного общества (с присущим ему господством традиции над инновацией, религиозностью, коллективизмом, доиндустриальным развитием, ценностной рациональностью и т.д.) к современному (где инновация преобладает над традицией, имеется светское объяснение и оправдание жизни, появляется автономный индивид, индустриальное производство, целерациональность и т.д.). Гидденс и другие сторонники «третьего пути» считают, что современное общество, ядром которого стала индустриализация, распространившаяся во многие западные страны, *может быть сегодня названо традиционным в сравнении с тем обществом, которое создается глобализацией и которое уже сегодня характеризуется глобальным свободным рынком и описанными выше чертами*. Концепция «третьего пути» является новым *прогрессизмом*. Так она названа в документах [3; 4; 23; 25], где лидеры США, Англии и Германии нацеливают свои страны на продолжение прогрессивного развития, которое в условиях глобализации

принимает новый вид – освоение глобальной экономики и решение внутренних задач, вытекающих из новой ситуации неподчинения глобального рынка ни государствам, ни системе государств, ни наднациональным органам. Подобно тому, как либеральные реформы в отдельных странах были частью их модернизации, *глобальная либерализация рынка рассматриваются как необходимая составная часть новой модернизации.* Концепция «третьего пути» предполагает соединение социальной солидарности с глобальной динамичной экономикой. Страны, вставшие на этот путь, намерены отчасти исправить эксцессы мирового рынка проводимой политикой. Но главная цель последней – обеспечить прогресс своих стран.

Новые прогрессисты провозгласили начало новой фазы модернизации Запада как переход к глобальному свободному рынку и строящемуся на этой основе новому обществу. *Таким образом, сторонниками «третьего пути» явились те левые силы на Западе, которые не стали отрицать реальность глобализации как нового вызова, приняли требование участия в глобальном свободном рынке как следствии собственного развития Запада, но попытались совместить это с социальной политикой, адекватной новым условиям.*

В чем суть концепции и политики «третьего пути»

Клинтон в конце 80-х гг. характеризовал свой курс как «третий путь». Блэр пришел к власти под лозунгом этим же лозунгом. Варианты такого развития появились и в континентальной Европе, прежде всего в Германии Шредера. Использование этого варианта развития западными странами можно представить как новый этап политической модернизации. Не существует общезападной модели «третьего пути», о чем свидетельствуют разногласия и даже противоречия между Т. Блэром, Л. Жоспеном и Г. Шредером. Легче всего эксплицируется англо-американская модель. Применение ее в других странах требует учета исторических и культурных особенностей, специфики момента и тех или иных задач. Множество «третьих путей» вытекают сегодня из базовой модели или эмпирически «выводятся» различными странами. *Базовая модель «третьего пути» включает реформу государства, превращение его в социальное государство в особом, новом смысле, рост влияния гражданского общества, новые формы социального контроля, связывающие права с ответственностью, переход к ответственному капитализму, «восстановление в правах» понятий общественного блага и социального равенства, сочетание индивидуализма и коммунитаризма, пересмотр концепции социальной помощи, новое отношение к проблеме занятости, учет нестабильности экосистемы, обеспечение устойчивого экологически безопасного развития, создание условий для раскрытия человеческого потенциала, признание важности социального и человеческого капитала, формирование способности жить в глобальном мире, ощущать ответственность за мир в целом.*

Учет социальных сдвигов последнего времени, таких новых социальных процессов, как распад коммунизма, глобализация, технологическая революция, увеличение рисков лишает концепцию «третьего пути» абстрактности, присущей политическим программам различных партий, лишь декларирующим намерения. Модель «третьего пути» становится более специфической, конкретно реагирующей на те проблемы, способы решения которых левыми социал-демократиями и правыми либералами не представляются новым левым адекватными.

Обратимся к базовой разработке «третьего пути» в трудах Гидденса, ибо английская модель капитализма в целом (как и его сегодняшней фазы) приближена к «классически чистой», свободной от помех. Итак, отрицание глобального рынка левыми и его воспевание правыми, по мнению сторонников «третьего пути», не

соответствует задачам момента: национальные государства не могут регулировать глобальный рынок, а его полная дерегуляция увеличивает риски, непредсказуемые катастрофы. Переходя в духе времени к логике и/и вместо или/или, Гидденс предлагает структурный плюрализм, включающий взаимодействие различных социальных институтов – государства, рынка, гражданского общества, демократии, который не дает государству обюрократиться, как это произошло при крайне левой коммунистической трактовке, и не дает ему стать статичным, зависимым и неактивным, что часто сопутствует либеральным режимам. (Тут нельзя удержаться от замечания, что наши неолибералы, они же – бывшие коммунисты совместили оба недостатка). На государство в концепции «третьего пути» возлагается серьезная ответственность. Перед ним стоят огромные задачи по цивилизации общества, по поддержанию публичной сферы. С одной стороны, ему следует приспособиться к уменьшению своей роли в мировой экономике, а с другой, в установлении социальных и цивилизационных рамок, слишком зависящих сегодня от рынка, роль государства возрастает. Оно должно заботиться об уменьшении налогов, экономическом процветании и социальном порядке. Государство должно опираться на публичные институты, которые могут получить приоритеты в решении многих задач. Государство должно самореформироваться для достижения общественного блага, преодолеть апатию избирателей и завоевать их доверие. Оно должно взять на себя функции повышения стандарта образования, исходить из того, что существующей демократии недостаточно и поощрять общественное самоуправление, формировать образы приемлемого политического правления, выступая против коррупции, nepотизма и криминала. Государство должно быть инициатором демократизации второй волны, необходимость которой вызвана глобализацией, и одновременно демократизации надгосударственных объединений, таких, например, как ЕС. Поощрение институтов гражданского общества государством необходимо осуществлять рассматривая коммунитаризм как одним из источников поддержания этических ценностей. Здесь Гидденс ссылается на работы А. Этциони, в последних книгах которого гражданская инициатива и самоуправление тесно связываются с деятельностью сообществ как структурных единиц гражданского общества. «Гражданское общество, – пишет Гидденс, – является фактором одновременного сдерживания рынка и государства. Ни рыночная экономика, ни демократическое государство не могут эффективно функционировать без цивилизующего влияния гражданских ассоциаций» [14, p.64]. В США эта позиция начала устанавливаться в 80-е годы. С классической точки зрения под гражданским обществом понималось общество, способное поставить под контроль государство. В отношении бизнеса признанной считалась формула: «Что хорошо для Дженерал Моторс, хорошо для Америки». Р. Найдер, баллотировавшийся в президенты США на последних выборах, изменил ситуацию. Он потребовал общественного контроля над бизнесом, организовал юридическую службу, разбирающую иски граждан против бизнеса, которая успешно работает. Теперь в США люди уверены в том, что «не все, что хорошо для Дженерал Моторс, хорошо для Америки». Гражданское общество стало трактоваться как общество, способное поставить под контроль государство и бизнес. Это – ключевая формула «третьего пути», снимающая традиционное левое и традиционно правое представления о роли государства в экономике, возлагающая на государство арбитражные и цивилизующие функции, а на гражданское общество – контроль за бизнесом и государством. Разумеется, при этом надо быть уверенным в зрелости гражданского общества, его ценностей и институтов. Степенью этой зрелости определяются различия в выборе конкретных парадигм «третьего пути» даже в Европе. Размышления о соотношении рынка, государства и гражданского общества в странах «третьего пути» не могут не привести к обсуждению

отношений государства и глобальной экономики, государства и новых технологий, производящих множество перемен и инициировавших поиск «третьего пути».

Глобальная экономика имеет ряд принципиально новых черт. Среди них Гидденс выделяет огромную роль в производстве науки и информационных технологий, а также символического содержания человеческой деятельности, рекламы, умения «продвинуть» произведенный продукт. Действительно, такие символы, как «французский хлеб», «испанское вино», «итальянская мода», «русская водка» работают на глобальном рынке как значимые факторы бизнеса, закрепляющие определенный успех и дающие немного шансов для новой символической победы, так как на деле немецкий хлеб вряд ли хуже французского, а испанское вино, наверное, не лучше итальянского. Но, например, грузинскому вину в этом символическом раскладе глобального рынка делать нечего. Однако глобальный рынок формируется прежде всего наукоемким продуктом, новой экономикой, основанной на знании. Именно она создает инновации и прибыль, стимулирует чрезвычайную скорость развития на глобальном рынке. Индустриальное производство на этом рынке отдано западным странам, недавно вступившим в эпоху индустриализации, но даже они стремятся к рывкам в новой экономике, минуя стадию индустриализации. Гидденс приводит два примера: аграрный рынок в Чикаго, в районе Великих озер, вытесненный финансовым рынком, и обсуждавшийся проект «Силиконовой долины» (по аналогии с Силиконовой долиной в США, где производятся компьютеры) в Бангалоре (Индия). Английские лейбористы придерживаются позиции конкурентного выбора инноваций посредством рынка и отказываются от дирижизма и протекционизма своей промышленности. К этому их побуждает давняя традиция свободной торговли и наиболее развитого капитализма. Гидденс отмечает, что если бы американское правительство протезировало IBM, не появились бы такие новые замечательные компьютеры, как Macintosh фирмы Apple. В других странах «третьего пути», например, во Франции государство определяет приоритеты. Немецкое правительство отказывается от промышленной политики, но ее осуществляет Немецкий банк.

Новые технологии развиваются чрезвычайно ускоренно, и для тех, кто желает занять место в глобальной экономике, скорость технологического обновления чрезвычайно высока и обязательна. Например, фирма IBM лидировала на мировом рынке компьютеров. Но она решила подождать, пока Б. Гейтс создаст новый Windows для ее компьютера новой модели. Паузой немедленно воспользовалась фирма Compaq. Ее вскоре опередила компания Dell, выпустившая модемы для сети Интернет. Другой пример. Россия обладает на глобальном рынке монополией на двигатели на жидком топливе. В военном плане они неудобны – немобильны, топливо высыхает, но они создают феноменальную подъемную тягу и используются для вывода американских спутников на орбиту. За это наша страна получает один млрд. долл. в год. Это один из немногих примеров успешной деятельности России на глобальном рынке. Конкурентная гонка в глобальной экономике означает, что остановиться – значит умереть. В нашумевшем бестселлере американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Т. Фридмана описывается следующая история. Журналист наблюдал, как на заводе в Японии, производящем дорогой и престижный автомобиль «Лексус», один робот приклеивал к машине эмблему, а второй снимал остающуюся после этой операции каплю клея. Всего в производстве автомобиля здесь используется 300 роботов. В этот же день он прочел в «Интернэшнэл Геральд Трибьюн», что араб и израильтянин подрались, не решив вопроса, кто именно из них владеет оливковым деревом. Книга так и называется «Понимая глобализацию. Лексус и оливковое дерево». Автор пишет: «Оливковое дерево очень важно. Оно представляет все, что является нашими корнями, что держит нас на якоре, идентифицирует и помещает нас в этом

мире – будь то принадлежность к семье, к общине, к племени, к нации, к религии или прежде всего к месту, называемому домом... В самом деле, это – одна из причин, почему национальные государства никогда не исчезнут, даже если ослабнут, состоит в предельной значимости оливкового дерева – конечного выражения того, к чему мы принадлежим лингвистически, географически и исторически» [11, р. 30]. Новому миру, созданному глобализацией, всего 10 лет. И есть другой мир. Но в новом мире «победитель получает все» [11, р. 306-320]. Другим остается только завидовать, альтернативы они создать не могут. В этих условиях возможен отказ от участия в глобальной экономике, но его результатом станет немедленная зависимость от тех, кто участвует. Вхождение в новый мир потому и называют новой модернизацией, что ее законы похожи на те, что были присущи старой: страны, не желавшие отвечать на вызов Запада модернизацией, немедленно попадали от него в зависимость, становились отсталыми, несмотря на достоинства, которыми они обладали, а, став отсталыми, теряли и эти свои достоинства. Ситуация похожа на ту, которую Гидденс приводит в отношении людей, имевших равенство возможностей, но не воспользовавшихся им в первом поколении. Обеднев, они лишили следующее поколение равенства возможностей [14, р. 89]. Гидденс пишет: «Социал-демократия старого типа концентрировалась на индустриальной политике и требовала кейнсианских подходов, в то время как либералы сосредотачивались на дерегуляции и либерализации рынка. Политическая экономия “третьего пути” соотнесена с различными приоритетами – образованием, инициативой, предпринимательской культурой, гибкостью, передачей власти и выращиванием социального капитала. Мыслящие в духе “третьего пути” подчеркивают, что строгая экономика предполагает строгое общество, но не понимают эту связь как идущую от вмешательства старого стиля. Цель макроэкономической политики – поддерживать низкую инфляцию, ограничивать государственные займы и использовать все активные, либеральные способы ускорить рост и обеспечить высокий уровень занятости» [14, р. 73].

Проблема занятости становится одной из ключевых общественных и государственных задач в условиях глобализации рынка, всё убыстряющегося технологического обновления, конкурентности и нового уровня компетентности, необходимого новой экономике. Если раньше люди уходили из деревень в городскую индустрию, затем с заводов в сервис, то теперь им некуда будет уходить. Сегодня в США в материальном производстве участвуют всего 7% населения. Остальные значимы для производства в качестве потребителей и работников, обеспечивающих производство и потребление – строящих дороги, создающих инфраструктуру и т.д. Такая модель занятости еще долгое время будет сохраняться. Но внедрение новых технологий будет сокращать численность работающих из-за несоответствия их числа и квалификации, о чем уже много писали такие авторы, как Дж. Рифкин, М. Кастельс, В.Л. Иноземцев и др.

К. Маркс мечтал о свободном времени как времени собственного развития людей. Но безработные не могут направить энергию на собственное развитие, будучи отверженными обществом и деморализованными. Гидденс, сознавая грядущую ситуацию невозможности полной занятости, предлагает заботиться о человеческом капитале. Видимо, придется осознать занятость как ценность. Но это противоречит эффективности экономики, ее неумолимой конкурентности. Он предлагает поддерживать человеческий капитал через образование и возможность переучивания на новые профессии. Но главное, сегодня нельзя, как старые левые, видеть в бизнесе только эгоизм, направленный на получение прибыли, или, как неолибералы, подчеркивать значимость только той рациональности, которая соответствует нуждам рынка. Социальное и гражданское предпринимательство, т.е. успешная деятельность в

социальной сфере не менее значимы, чем работа в рыночном контексте. И рывок творческой энергии, который можно наблюдать в технологии и глобальном рынке, нужен в обществе, в публичном секторе, – считает Гидденс [14, р. 75]. Поэтому проблема занятости, налогов, переобучения, пособий детально разрабатывается с точки зрения принципов и целей, которые могут быть достигнуты политикой «третьего пути». Но здесь, разумеется, нет никаких разговоров о лишних людях или о том, что некоторые могут стать лишними. Напротив, едва ли ни в марксовом смысле обсуждается вопрос о человеческом и социальном капитале как интегральной составляющей новой «знаниевой» экономики. Речь идет о кооперации, в том числе и в технологических областях для создания успешных инновационных сетей. Главная надежда на обеспечение занятости состоит в том, что «социальные предприниматели могут стать высокоэффективными новаторами в области гражданского общества, в то же время внося вклад в экономическое развитие» [14, р.82]. Таким образом, в отличие от старых левых, Гидденс не говорит о регулировании экономики, а в отличие от либералов, он считает, что общество сегодня нуждается в большем, а не меньшем присутствии государства. Но государство должно работать «выше» и «ниже» уровня рынка, будучи нацелено на получение общественного блага. Таким образом, разорванная традиция поиска блага и рассмотрение только свободы как источника всех и всяческих благ здесь соединяются.

Одним из главных направлений критики «третьего пути» было то, что это – англосаксонская модель, неприемлемая даже для континентальной Европы. Северные, скандинавские страны гордились своей системой достижения благосостояния за счет высоких налогов и их справедливого перераспределения, обеспечивающего процветание граждан. Действительно, Норвегия и Финляндия – страны очень высокого жизненного уровня. Но и они, как теперь Швеция, не могут не столкнуться с бегством капитала туда, где выгодно, за пределы государственных границ, ибо при глобализации эти границы уже не являются границами для капитала. Как отмечает шведский исследователь и политик О. Петерссон, «способность современных государств находить подходящие решения сегодня резко сократилась: во-первых, потому, что большая их часть выходит за рамки национальных границ, во-вторых, наиболее серьезные вопросы требуют значительной координации усилий в международном масштабе и, в-третьих, нынешняя публика не склонна смиренно соглашаться с установками, принимаемыми наверху и “спускаемых” вниз для исполнения» [2, с.13].

Концепция «третьего пути» остро реагирует на изменение жизненных стилей, проявляя интерес к проблеме риска, становящегося фактором повседневности, экологии, традиции, значимость которой возрастает, изменениям в семье. Отношение к этим институтам и фактам обыденной жизни происходит в том же русле преодоления конфронтации старых левых взглядов и либеральных подходов. Это – отдельная интересная тема.

Новых английских лейбористов критиковали за то, что они опираются лишь на узкую прослойку среднего класса наиболее развитых регионов Англии. Одна из целей «третьего пути» – расширение среднего класса, пересмотр проблем социальной помощи и обсуждение проблем неравенства. Детально разработаны принципы перестройки государства благоденствия для стимулирования людей к работе и развитию. Предлагается пересмотр идеи равенства на основе сравнительных оценок возможностей самых верхних и самых нижних слоев. Этот двухуровневый подход составляет основу нового подхода к проблеме бедности.

Глобализация «третьего пути» как пример локального воздействия на глобальные трансформации.

Глобализация «третьего пути» понимается в двух смыслах: как расширение круга стран, выбирающих этот путь, и как применение «третьего пути» для решения проблем глобального сообщества.

В первом смысле отмечается, что все больше стран с надеждой смотрят на перспективу «третьего пути», находя в нем одновременно и смену принципов, и конкретные политические механизмы, которые к тому же обладают достаточной вариативностью, определяемую особенностями культуры той или иной страны и ее конкретными задачами. Новая ситуация в мире привела к распространению модели «третьего пути». Сегодня в Европе ее используют четыре страны:

- рыночно ориентированный подход новых либералов (Великобритания);
- рыночно и консенсусно ориентированный подход (Дания);
- шведская модель реформирования социального государства;
- французский путь, при котором приоритеты определяет государство [9, p.31].

Эти характеристики даны исследовательской службой социал-демократической партии Германии. Что же представляет собой германский «третий путь»? Новые социал-демократы более прагматичны и стоят по ту сторону социализма или либерализма. Шредер модернизировал отношение к бизнес-сообществу, ввел формы партнерства политики и бизнеса, благодаря которым создаются рабочие места. После победы на общенациональных выборах он стал следовать английскому варианту «третьего пути» как реакции на глобализацию и новую модернизацию. Но немецкие сторонники «третьего пути» раскололись. Если Шредер занял модернизаторские позиции, то министр финансов Лафонтен – более традиционалистские. Он считает, что необходимо макроэкономическое управление, введение международных форм регулирования глобального рынка, укрепление существующей системы социальной помощи и т.д. В этом споре формируется образ немецкого «третьего пути» как национально ориентированного, но открытого для глобальной экономики [20, p.74-85].

География «третьего пути» расширяется. Нидерланды, Португалия, Испания, Греция, Италия, Новая Зеландия, Латинская Америка, Тайвань и др. проявляют к нему значительный интерес.

Бразильский ученый Л. К. Брессер-Перейра пытается показать серьезные отличия старых левых, новых левых и новых правых в развивающихся странах. Старые левые понимают партийный контроль как бюрократию, новые левые – как роль нового среднего класса, новые правые – как роль бизнес-элит. Приведем различия между восприятием этими силами различных проблем.

Проблема	Старые левые	Старые правые	Новые правые
Роль государства	централизация	дополнительность	вторичная
Реформа государства	воспроизводство бюрократии и большого государства	изменения в сторону менеджерских функций	минимальная роль
Исполнение как основа социальных служб	контролируется непосредственно государством	публичными негосударственными организациями	частными фирмами, осуществляющими бизнес
Финансирование	осуществляется	осуществляется	частным сектором

как основа социальных служб	государством	государством	
Социальная безопасность	обеспечивается государством	государство обеспечивает лишь основания социальной безопасности	обеспечивается частным сектором
Макроэкономическая политика	популистская	неокейнсеанская	Неоклассическая [5, p.368].

Как видим, в изложении «третьего пути» бразильским автором неокейнсианство сохраняется, хотя новые левые в Европе от него отказываются. Это объясняется иной степенью зрелости бразильского капитализма и его меньшей вовлеченностью в глобальный рынок.

Особенно интересно, что *отношение к глобализации* описывается у *старых левых* как *отношение к угрозе*, у *новых левых* – как к *вызову*, на который надо *отвечать*, у *новых правых* – как к *выгодному процессу*. Гидденс солидаризируется с этой мыслью в одной из своих работ.

Если победители глобализации – западные страны посчитали для себя необходимым ускорить прогрессивное развитие и пройти новую, весьма драматичную модернизацию, то что они могут предложить тем, кто не осуществил еще модернизации в классическом понимании этого процесса? Этот коренной вопрос не может быть разрешен паллиативами перераспределения демократизации, которая часто оборачивается гуманитарной интервенцией, концепцией устойчивого развития, не обеспечивающей прогресса. Даже 11 сентября не заставило Америку задуматься о причинах, породивших волну терроризма. Все свелось к злой воле отдельных лиц, к объявлению ряда стран изгоями. Не был проявлен интерес к анализу мирового неравенства, бедности ряда стран и оскорбительного пренебрежения культурой целых народов и их образом жизни. Мировой банк издает серию «Голоса бедных», ООН и ЮНЕСКО заняты их проблемами, но западные страны в целом удовлетворены статус кво и только начинают думать о внешних вызовах [6; 8; 16].

Что же представляет собой развитие незападных стран, в условиях, когда западные страны вступили в новую модернизацию, а они не завершили старой? По мнению С. Хантингтона, модель вестернизации без модернизации (Египет, Филиппины) показала свою несостоятельность; модель модернизации без вестернизации (Юго-Восточная Азия) показала свою ограниченность, недолговременность; догоняющая модель (Россия, Турция, Мексика) осложнена тем, что Запад перестал быть образцом развития, перешагнув в новый информационный мир. Остается одна модель – национальных модернизаций, которые могут быть осуществлены в рамках прежде достигнутых вестернизаций [18, p.75]. В этом смысле Россия достаточно вестернизирована, хотя она может еще заимствовать некоторые западные структуры. Но главное для нее – решить свои внутренние проблемы. Сходную мысль отстаивает известный теоретик модернизации Ш. Айзенштадт и другие исследователи. Показывая, что Запад теряет статус модели развития, он выдвигает концепцию множества модернизмов, т.е. опять же национальных моделей модернизации [21]. Это позволяет говорить о различии внутренних задач и проблем выхода в глобальную экономику для незападных стран.

Первый урок «третьего пути» для России

В России многие считают, что нашей стране незачем участвовать в несправедливой глобализации. Мотив привязанности к оливковому дереву (в данном случае – к березе), т.е. модель сакральной привязанности к своей стране и дому может возобладать в России. Но как показывает трагический путь других стран, без развития, улучшения жизни этот пласт глубинной самоидентификации нации исчезает и сменяется простой адаптацией. Бóльшим патриотом, окажется, скорее, тот, кто сочетает эту привязанность с желанием процветания своей страны. Действительно, глобализация неравномерна и несправедлива. Как показано в докладе ООН «Глобализация с человеческим лицом» (1999), глобализация в ее сегодняшнем виде – источник растущей бедности целых стран и континентов, роста «четвертого» (самого бедного) мира. Так, разрыв между пятью богатейшими и пятью беднейшими странами в 1960 г. составлял 30:1, в 1990 – 60:1, в 1997 г. – 74:1. 19% мирового населения имеют 71% глобальной торговли и услуг. Из 82% мирового экспорта доля пяти беднейших стран составляет 1%. Из 74% телефонных сетей эти страны имеют 1,5 %. В документе приводятся фантастические цифры: три самых богатых человека мира — вдова хозяина магазинов Вулворт, Билл Гейтс и король Брунея — владеют капиталом, равным совокупному валовому продукту пяти беднейших стран [16, р. 343]. В этом отношении, конечно, глобализация противоположна классической модернизации. Последняя настраивала на то, чтобы незападные страны могли догнать Запад, хотя бы немного приблизиться к нему. Запад индустриализован — стройте индустрию. Он производит автомобили — производите и вы. На примере Румынии сегодня можно видеть, что наличие собственных автомобилей, танков и даже самолетов совершенно не делает ее страной глобальной экономики, потому что эти ее автомобили, танки и самолеты никому не нужны. Все попытки догнать путем заимствования, копирования обрекают на бесконечное отставание. В сущности, в глобальную экономику могут войти только те, кто сумел создать особенный, уникальный продукт для мирового рынка или произвести некий крайне необходимый продукт по самой дешевой цене. Сегодня в клуб избранных вошли Бразилия, Индия, ЮАР, Турция, Польша, Китай, Мексика, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Россия практически не вошла, не вошла и Саудовская Аравия с ее гигантскими нефтяными запасами, потому что речь идет не об энергетическом вхождении, а о вхождении за счет технологического прорыва, исключительной творческой возможности гениев, которые создают такой прорыв. Если Россия перестанет производить нефть, в мировой экономике ничего не изменится. Норвегия, Венесуэла и другие страны произведут ее больше.

У экономически, информационно и технологически развитых стран в условиях глобализации возникают необычайные преимущества, и разрыв между богатыми и бедными странами не только нарастает. Если развитие по этому пути продолжится, разрыв непреодолим.

В XX столетии ответом на свободную торговлю, мировую экспансию Запада явились такие движения, как национализм, коммунизм, фашизм. Они затормозили глобализацию, но не принесли счастья своим народам. Сегодня ожидать подобных системных сопротивлений не приходится хотя бы потому, что они уже показали свою слабость в качестве альтернативы глобальному миру. Нынешние протесты, объединяющие множество людей, по разным причинам ненавидящим глобализацию, не выдвигают альтернативу, а лишь предлагают задуматься о ее несправедливости. Их этический протест не создает альтернативной экономической модели, а глобализация строится на мировой экономике.

Отношение к глобализации в России похоже на прежнее отношение к капитализму. С левых позиций реакция на вызовы глобализации должна быть такой же,

как на вызовы капитализма. Социализм был одним из способов модернизационного ответа на вызов капитализма, классической модернизацией, которая часто носила насильственный характер и осуществлялась в условиях изоляции. Другой выбор в ситуации глобализации возможен, но за него придется платить отсталостью, зависимостью.

Глобализация не стала темой размышления правящих кругов ни в качестве угрозы (как ее воспринимают старые левые), ни в качестве вызова (как к ней должна была бы отнестись правящая элита). Она с радостью воспринята правыми радикальными либералами как прибыльная.

Концептуально не прописаны разделение внутренних и внешних задач страны, отличие способов внутренней модернизации по национальной модели и попытка использовать возможности прорыва в глобальную экономику как шанс неклассической модернизации, долговременного прогресса, способного в конечном итоге преобразоваться и во внутреннее более успешное развитие.

В концепции «третьего пути» исключительное внимание уделяется новым технологиям, новой экономике, информатизации. В России была сделана ставка на малый и средний бизнес, не являющийся фактором глобализации экономики. 20 марта 2002 г. принята программа развития девяти приоритетных направлений научно-технического развития, дающая надежды на точечные прорывы в глобальную экономику. Среди них нет ни одной социально-гуманитарной дисциплины, кроме экологии. Это дало повод некоторым физикам радоваться, что наконец-то, может быть, деньги заберут у никчемных гуманитариев и передадут им. Между тем «немецкое чудо» оказалось возможным благодаря продуманной программе немецких политологов-либералов, «японское чудо» реализовалось на основе предложенного японскими социологами проекта, а «третий путь» в Англии и других странах – на базе концепции, предложенной Гидденсом, который убедительно раскрыл (как и У.Бек) роль социальных наук для предотвращения рисков технологических инноваций и нежелательных последствий глобализации.

Второй (неправильно выученный Россией) урок «третьего пути».

Концепция и практика «третьего пути» показала ценность социального государства, которое не может быть отменено, но должно быть трансформировано.

Согласно статье 7 Конституции РФ, российское государство является социальным. Следовало бы добавить – демократическим социальным. Такое определение не соответствует либеральной политике, основной принцип которой – самоответственность, а не солидарность, а в российском радикально либеральном варианте – индивидуализм. По сути дела, радикальный либерализм может быть признан противоречащим по этому основанию действующей Конституции.

Приход Путина к власти прошел под знаком усиления государства, воспринимавшегося населением как фактор наведения порядка. Закончилась революционно-романтическая и революционно-прагматическая фаза антикоммунистической революции и, как это бывает после всякой революции, начался восстановительный период, при котором возвращалось положительное старое и удерживалось приемлемое новое. У народа осталась вера в консолидирующую общество функцию государства, в его патерналистскую роль и стремление к справедливости. Термин «сильное государство», ставший частью официальной риторики, трактовался как социальное государство, направившее свои усилия на искоренение недостатков. Были предприняты меры по укреплению властной вертикали, деприватизации власти, приведения законов автономных республик в соответствие с федеральными законами, проведена партийная реформа, позволившая осуществить

консолидацию общества вокруг властей.

Программа Грефа представляет собой типичную неолиберальную программу, которая, по мнению многих, повторяет проект Гайдара 1991-1992 гг. и «молодых реформаторов» 1997-1998 гг. Ее положения о всестороннем развитии не должны вводить в заблуждение. Максимум, о чем здесь идет речь, это многообразие экономических инициатив. Социальные намерения власти, как они предстают в программе Грефа и законодательных инициативах, опираются на два источника – субсидиарность и самоответственность. Последний способ общения с обществом соответствует формуле «третьего пути».

Субсидиарность – это принцип, который требует от государства социальной помощи бедному населению и защиты его от социальных рисков. Солидарность – это концепция социального государства индустриального общества, утверждающего возможность классового компромисса и обеспечивающего его достижение благодаря активной социальной политике, смягчению действий рынка в области здравоохранения, образования, транспорта, жилья и пр. Самоответственность – это политика либерального государства, которая возлагает решение социальных проблем на самих граждан. *В новом лейборизме она предстает как политика модернизированного социального государства, которое защищает общество от чрезмерного вторжения рынка и его эксцессов, оставляя нерыночные сферы.* Эта политика принята по-настоящему только в Британии, самой развитой стране капитализма, но там утверждается и выполняется взаимность ответственности граждан и государства посредством гражданского общества, которого в России нет. Именно развитое гражданское общество позволяет Британии активно использовать эту модель в отличие от других государств. Даже в США делается огромная ставка на субсидиарность и солидарность, что выражается в поддержке бедных и маргинальных слоев, эмигрантов, инвалидов, этнических групп – афроамериканцев и латиноамериканцев.

Стратегическая цель новой социальной политики в России сегодня определяется как переход к устойчивому социальному развитию через взаимную ответственность государства и человека [1, с.11]. Ясно, что эта формулировка отличается даже от самой радикальной трактовки модернизированного социального государства Запада, выдвинутой английским премьер-министром Т. Блэром, в которой утверждается взаимная ответственность государства, общества и индивида, дополняемое отсутствующими у нас требованиями ответственного капитализма, достижения общественного блага, новых форм социального контроля, восстановления в правах понятия социального равенства, обеспечения не только устойчивого, но и прогрессивного развития. Российский (грефовский) «вариант», смягчающий положение лишь самых бедных, в отношении которых государство намерено быть в какой-то мере субсидиарным, в отношении остальных предполагает только превентивные меры, которые предупреждали бы безработицу и снижали остроту последствий массовых увольнений.

Откуда в России появились идеи неполной занятости, взаимной ответственности? На Западе они возникли в связи с глобализацией и переходом в постиндустриальное общество. Россия еще не вступила в эту фазу развития, сектор новой экономики здесь не является преобладающим. Она не реагирует и на глобализацию как новый тип социальной трансформации. Находясь в фазе индустриального развития, наша страна не может сегодня ставить вопрос о том, чтобы догнать постиндустриальный Запад, а, тем более о том, чтобы использовать догоняющие модели модернизации в политике.

Более адекватной формой российского государства может быть не модернизированное социальное государство постиндустриального периода, а

социальное демократическое государство эпохи индустриализма, государство, на формирование которого оказал влияние российский социалистический опыт. Нам необходим социальный консенсус, ограничивающий бегство капитала, поскольку страна не вступила и в фазу активного участия в глобальной экономике. Россия не может перейти к модернизированной схеме социального государства английского типа, поскольку в ней не построено гражданское общество, нет бизнеса, ответственного и готового заместить государство в социальных проектах, нет условий для ответственности граждан за свою судьбу и даже для нормальной оплаты профессионального труда, которая позволила бы провести намеченные реформы жилищно-коммунальной сферы, образования и здравоохранения.

Судя по всему, на сегодняшней фазе развития идеи социального демократического государства в России «списываются» с модернизированного социального государства Блэра, хотя для их реализации в России нет ни малейших оснований. Английский вариант трансформации социального государства с трудом проходит в Германии, не воспринимается как приемлемый в других странах. Откуда в России, где недофинансированный научный сектор не может перевести страну на постиндустриальные рельсы, где нет дорог, где покупка квартир недоступна среднему классу, не говоря уже о бедных слоях населения, эта идея об ответственности граждан за свою судьбу? Если государство будет вести себя подобным образом по отношению к своим гражданам, оно может невольно ускорить появление очагов гражданского общества, которые сформируют консолидированное сопротивление такой политике, но вряд ли это будет способствовать осуществлению намеченных преобразований.

Представитель немецкой классической философии И.Г.Фихте в работе «Замкнутое торговое государство» (1800), показал, что в таком государстве, при всех его недостатках, господствует порядок, а разомкнутое, свободное торговое государство становится анархическим при всех его достоинствах. Постоянный переход от порядка к анархии и обратно, от замкнутого торгового государства к открытому и обратно напоминает движение маятника. Как же его остановить? Фихте говорит: «Для этого надо помыслить общество иначе». Сторонники «третьего пути» помыслили иначе и дали толчок к осмыслению тех процессов, которые происходят в современном мире.

Литература

1. *Гонтмахер Е.* Социальная политика в России: эволюция 90-х и новый старт // Pro et Contra. 2001. Т.6. № 3. Лето.
2. *Петерссон О.* Шведская система правления и политика. М.: Ad Marginem, 1998.
3. *Blair T.* The Third Way. L.: Fabian Society. 1998.
4. *Blair T., Schröder G.* Europe: The Third Way – die Neue Mitte. L.: Labour Party and SPD, 1999.
5. *Bresser-Pereira L. C.* The New Left Viewed from the South // The Global Third Way Debate.
6. Can Anyone Hear Us? N. -Y.: Oxford University Press for the World Bank, 2000.
7. The Changing Nature of Democracy / Ed. by T. Inoguchi, E. Newman, J. Rtane Tikio, N.-Y., P.: United Nations University Press, 1998.
8. Crying Out for Change. N. Y.: Oxford University Press for the World Bank, 2000.
9. Dritter Weg – Neue Mitte. Berlin: Grundwertekommission beim Parteivorstand der SPD. 1999. (Цит. по: Giddens A. The Third Way and its Critics).
10. *Edwards M.* Humanizing Global Capitalism: Which Way Forward? // The Global Third Way Debate.

11. *Friedman Th.* Understanding Globalization. The Lexus and the Olive Tree. N.Y. : Anchor Books, 2000.
12. *Giddens A.* Beyond Left and Right. Cambridge: Polity Press, 1994.
13. *Giddens A.* Runaway World. How Globalization is Reshaping our Lives. L.: Profile books, 2000.
14. *Giddens A.* The Third Way and its Critics. Cambridge: Polity Press, 2000.
15. *Giddens A.* The Third Way: the Renewal of Social Democracy. Cambridge: Polity Press, 1998.
16. Globalization with a Human Face. UNDP Report 1999 // The Global Transformation Reader. An Introduction to the Globalization Debate. Cambridge: Polity Press, 2000.
17. *Held D., McGrew A., Goldblatt D., Perraton J.* Global Transformations. Politics, Economics and Culture. Cambridge: Polity Press, 2000.
18. *Huntington S.* The Clash of Civilizations and the Remarking of World Order. N.-Y: Simon & Schuster, 1996.
19. *Meny Y.* Five (Hypo)theses on Democracy and its Future // The Global Third Way Debate.
20. *Meyer Th.* From Godesberg to the *Neue Mitte*: The New Social Democracy in Germany // The Global Third Way Debate.
21. Multiple Modernities // *Daedalus*. Journal of the American Academy of Art and Sciences. 2000. Winter. Vol.129. № 1. (СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК).
22. *Naisbitt J.* Megatrends. Ten New Directions Transforming Our Lives. N.-Y.: Warner Books, 1984.
23. The New Progressive Declaration. Washington: Democratic Leadership Council–Progressive Policy Institute – PPI, 1996.
24. *Sengupta A.* Realizing the Right to Development // Development and Change. Oxford, UK: Institute of Social Studies, 2000. Vol. 31.
25. The Third Way: Progressive Governance for the 21st Century // The White House. 25 April 1999.

Ковалева М.С.

Эволюция понятия «риск»

В этой статье мы сделаем попытку проанализировать исторические изменения, касающиеся того, что вкладывалось человеком в содержание понятия «риск» в разные эпохи, какие реальные процессы в развитии человечества привели к этим изменениям, в контексте каких научных понятий осмысливался риск как таковой.

На предварительном уровне можно выделить три типа и одновременно исторических вида риска по определяющему признаку его содержания: риск *естественный*, *цивилизационный* и *глобальный*. (Сразу же следует отметить, что исторические виды не есть исторические стадии, сменяющие друг друга, но появившиеся в дополнение к естественному, всегда сопровождавшему и сопровождающему индивида и группу индивидов.) Характеристика каждого типа включает риск взаимоотношений человека с природой, риск взаимоотношений внутри социума, риск применения технических средств в деятельности человека и риск взаимоотношений общества и государства, а также государств между собой.

Риск естественный.

Эпоха (сколь угодно далеко уходящая вглубь веков) первозданного хаоса человеческого существования, характеризующегося отсутствием государственности, с одной стороны, и атомизированным человеком — с другой, когда каждый оказывается «один на один» перед всевозможными проблемами и «против всех» за свое выживание, когда каждый имеет естественное право предпринимать все возможное для самосохранения. *Взаимоотношения человека с природой* в таких условиях предельно ясны: природа одновременно среда обитания, источник средств существования, но и источник опасности, постоянная угроза в виде болезней, диких зверей, стихий, холода и голода, то есть фактор риска. *Неразвитость социальных отношений* означает, что риск — удел каждого индивида в отдельности. Здесь возможны такие формы риска, как неподчинение семейной, сословной субординации, личные психологические свойства индивида (конфликтность, авантюризм и т.п.), физическая слабость, болезненность и пр., возможность стать жертвой криминального действия другого. *Политический риск* при решении вопросов, затрагивающих какую-то совокупность людей (о войне, о переселении, о постройке общих укреплений и пр.), также носит атомарный характер в том смысле, что принимается главой семьи, клана, племени и даже царем под личную ответственность (особый случай составляет государственная и правовая римская система). Хотя особенность политических решений, связанных с риском, всегда заключается в том, что они ставят под угрозу личные интересы многих.

* Ковалева Марина Самуиловна, главный специалист Рабочего центра экономических реформ при Правительстве Российской Федерации

© Ковалева Марина Самуиловна, 2002 г.

© Центр Фундаментальной Социологии, 2002 г.

В сознании человека естественный риск, в только что указанном его понимании, мог восприниматься как чисто случайная случайность в хаотическом потоке событий, где жизнь отдельного человека неразличима и так же случайна, как и ситуация риска, в которой он оказался; или как предначертанная необходимость (фатальность); или как наказание за грехи, божье испытание. На том уровне конкретных знаний, общих представлений о мире и религиозности (как языческой, так и христианской) осознание риска не могло выйти за пределы понимания его как чего-то внешнего по отношению к человеку и соответственно формировало определенную установку в индивидах. Она выражалась в том, что человек в любом очевидно рискованном деле уповал на волю божью, судьбу, удачу, собственную силу и ловкость, а в качестве мер предосторожности он мог обзавестись какими-то средствами защиты (они же средства нападения) и заручиться чьей-то помощью.

В теоретическом осмыслении естественный риск, видимо, следует рассматривать в рамках концепции мира как многофакторного сочетания множества самых разных социальных, природных, предметных элементов, находящихся в постоянной динамике взаимоотношений и внутри себя (некая аналогия броуновского движения). Риск в таком мире — его естественно присущее, неотъемлемое свойство, которое хотя и является угрожающим фактором для равновесия и устойчивости существования каким-то частям этого мира в разных его точках одновременно, но он как бы предусмотрен самим устройством мира и, угрожая отдельной части, риск в то же время — один из факторов, обеспечивающих гармонию и целостность мира в целом. Стремление человека, обладающего разумом, упорядочить первичный хаос бытия, предусмотреть максимальное количество обстоятельств своего будущего предприятия или деятельности, учесть все возможные перспективы развития событий и на основе этого принимать решения, является составной частью такого мира. Именно это естественное стремление человека подстраховывать риск своей деятельности привело в период развития свободной мировой торговли к появлению особой отрасли знания (калькуляции риска), особого дела (страхования судов, отдельных путешествий), которое по определению предназначалось для разделения ответственности за риск отдельного лица. Появилась первая осознанная, социально значимая форма упорядочения естественного риска, попытка проникновения воли человека в само устройство мира с целью его корректировки. В эпоху Просвещения в науке проблема риска как стечения неблагоприятных случайных обстоятельств и угроза благополучному исходу отдельного предприятия или действия получила освещение в вероятностной математике, описывающей вероятность актуализации случайного события — выпадения белого или черного шара в многочисленных сериях опытов с множеством шаров, проводимых в одних и тех же условиях (то есть количество факторов, влияющих на исход, искусственно сведено до минимума и тождественности предыдущим и последующим, чего в реальном мире не бывает). Но тем не менее движение социального мира в сторону развития договорных отношений между людьми и между обществом и государством, в связи с обсуждаемой темой, можно рассматривать как попытку унифицировать формы человеческого взаимодействия, то есть создать одинаковость исходных условий для этого взаимодействия и, соответственно, поставить участников в равное положение относительно его срыва, актуализации риска и возможного ущерба для его участников.

Риск цивилизационный.

Естественный баланс сил в социальном и природном мире нарушился с развитием индустриальной цивилизации. Постепенный переход от трудовой производительной деятельности человека в пределах натурального хозяйства к

промышленному производству и освоению природных ресурсов означал переход от самообеспечения своего выживания и выживания своей семьи к разделению труда и массовому производству отдельных видов товаров для свободного обмена на нужную продукцию иного рода через универсальное средство — через деньги, к дальнейшей формализации человеческих отношений. С точки зрения рисконасыщения человеческой деятельности и жизни этот переход очевидно вел к усложнению общественного устройства, к усилению хаоса, беспорядочности движения и увеличению разнообразия направлений движения социальных и экономических агентов и, соответственно, к повышению значения риска как фактора жизни и деятельности отдельного человека.

Поменялось *отношение к природе* — постепенно человек перешел от положения зависимого от природы и защищающегося от нее существа к роли захватчика ее богатств, в конечном счете, к роли ее укротителя. (Конечно, наглядность этой замены проявилась лишь на стадии развитого индустриализма, условно можно указать вторую половину XIX века.) Расширение масштабов разработок ископаемых, производства многочисленных отраслей промышленности, массовизация занятости, развитие технического снаряжения человеческого труда (от мускульных орудий труда и средств передвижения к механизмам на паровой, затем электрической тяге, к скоростным средствам передвижения) применительно к риску означали: количественное наращивание естественного риска, появление новых видов, среди которых самое заметное место занял технологический; массовость втянутых (в том числе и без их ведома) в ситуацию риска людей как константной характеристики; и, наконец, провокацию природных катаклизмов сверх того, что, так сказать, заложено в естественном ходе планетарных событий.

В социальном мире в ходе модернизации или становления обществ современного типа произошли кардинальные изменения: ломка сословного деления, классовое расслоение в эпоху первичной индустриализации по отношению к средствам производства, а позднее расслоение по уровню дохода, образованию, роду занятий, близости к власти и высшим культурным ценностям; развитие социальных отношений (в прямом значении этого понятия) между индивидами, индивидом и группой, индивидом и организацией, между организациями и т.д. на основе нравственных норм поведения, социальных институтов (включая институт договоров и взаимных обязательств), а также принятых в данном конкретном сообществе общих правил, привычек, стилей (в одежде, речи, манерах). Именно на основе разделяемых всем обществом институтов, норм поведения в различных публичных, деловых и повседневных ситуациях строятся оценки и ожидания участников взаимодействия, обеспечивается адекватная реакция одного из них на действия другого. Кроме этого следует отметить рост народонаселения (зафиксированный еще в первой половине XIX века), который стал ответом на массовое производство пищи, одежды, строительство жилья в развивающихся городах. В принятой нами системе координат (хаос пересечения множества случайностей) такие условия ведут к усилению хаоса, поскольку безмерно возросло множество агентов действия и его материальных компонентов, причем это множество не просто расширилось количественно, но стало предельно насыщенным несопадающими и противоречащими друг другу волеизъявлениями отдельных индивидов — в броуновское движение социального бытия вовлекались все большие массы людей, принимающих ответственные решения в своих действиях (в отличие от поддающегося подсчету количества таких индивидов, к тому же делающих выбор и за других, в условиях естественного риска). Риск стал явлением массовым в том смысле, что в одной ситуации риска часто оказывается статистически значимая совокупность индивидов. К риску индивидуальному добавился

риск социальный в виде массовых форм протеста, мировых войн, революций. Индивидуализация субъектов поведения (отличная от атомарного положения человека перед лицом естественного риска) вкупе с утверждением культа человеческого разума, противостоящего Провидению, Природе и направленного на исправление ошибок того и другого, привели со временем к появлению таких форм социально-политического риска, как терроризм и тоталитаризм (соответственно XIX и XX век). Иными словами, в социальной сфере процесс модернизации, унификации, формализации человеческих взаимоотношений, который, казалось бы, прямо направлен на понижение риска их срыва, привел к расширению области действия риска и его рассеивание на людей, никакого отношения к данному рискованному мероприятию не имеющих.

В области политической уже указанное проникновение в государственное управление культа разума первоначально, на ранней стадии развития индустриальной цивилизации, особенно во времена Просвещения, связывалось с оптимистичной надеждой на рациональное обуздание своеволия монарха (мечта о просвещенном монархе), ставшее возможным на основе добытых людьми знаний о данном Боге миропорядке и внедрения этого знания в сферу принятия политических, то есть государственных решений. Отсюда становление парламентских форм правления как распределение ответственности с дальнейшим разделением ветвей власти, выработка системы сдержек и противовесов (подстраховка общества в целом от вероятного риска принятия одной из властных структур социально опасного решения). Вера европейского общественного сознания в обязательность прогресса, понимаемого как постепенное улучшение положения отдельного человека (из чего, предполагалось, складывается благополучие всего общества), ставила перед государством и законодательскими институтами соответствующие цели борьбы с голодом, холодом, болезнями, с антисанитарией жилых и рабочих помещений — с бедностью со всем комплексом сопутствующих ей явлений в разные исторические периоды. Эта благородная цель обезопасить человека относительно элементарных условий жизни, помочь ему в его естественном стремлении к выживанию довольно скоро трансформировалась в цель облагодетельствовать человека сверх этого минимума и привела к активному экспериментированию в поиске иных, новых, более научных, более правильных форм государственного правления. Что не однажды обернулось гибелью огромного числа людей по воле «правильного» государства.

Политический риск в эпоху индустриальной цивилизации, так же как природный и социальный, многократно вырос. Не последнюю роль в этом сыграло техническое оснащение силовых государственных структур, но не в меньшей степени это произошло в связи с проникновением в высшую политическую сферу человеческого фактора, не в смысле перевеса частных интересов, когда благо страны, народа остается за бортом политического корабля — этот фактор присутствовал всегда и неистребим, естествен для человека, или простой человеческой ошибки, а в смысле действующего политика высшего эшелона, одержимого воплощением «великой» идеи (почерпнутой само собой из арсенала научного знания) и сознательно идущего на риск и прямую гибель одних людей сейчас ради «светлого», а главное правильного благополучия всех других в неопределенно отдаленном будущем. Иными словами, борьба с волюнтаризмом в политике (содержащим в себе риск для общества) привела в определенный момент к гиперволюнтаризму тоталитарных вождей (смертельному для общества).

Во второй половине XX века, во время, получившее название гипериндустриализма, появился *новый вид риска* (уже упоминавшийся в связи с отношениями с природой в эпоху индустриальной цивилизации) — *технологический*. Если на ранних стадиях индустриального развития он был привязан к новым

техническим средствам труда, к новым технологиям производства, опасным для человека, прежде всего участвующего в этом процессе, и параллельно с техническим обновлением человеческий ум довольно быстро стал разрабатывать подстраховку этого риска в виде правил пользования, экспертизы прочности и пр., то после появления сверхсложных технологий (типа АЭС, некоторых военных и химических производств) технологический риск вышел за пределы отдельного, локального устройства, места расположения производства — он стал постоянным фактором угрозы обществу, человеку и природе. Иными словами, он вышел за пределы компетенции такой отрасли знания, как техника безопасности, и стал проблемой социальной, экологической и (как очень скоро выяснилось) глобальной.

Итоги индустриальной эпохи оказались очевидно неоднозначными. С одной стороны, голод безусловно преодолим (пищи производится в мире с избытком, вопрос в перераспределении, которое так или иначе осуществляется мировым сообществом); холод в принципе (если исключить халатность человеческую в подготовке к сезону) тоже проблема решаемая, повседневная; с болезнями эпидемиологического характера человечество также научилось успешно бороться (хотя они не исключены вовсе из списка угроз); человек добился также того, что по крайней мере многие, если не все, природные стихии стали предсказуемыми, а значит теоретически имеется шанс избежать фатальности человеческих жертв (путем предупреждения населения, строительства сейсмоустойчивого жилья, дамб пр.). Но, с другой стороны, наличествуют такие не менее очевидные для всех, столь же не требующие доказательств, явления, как новые социально ощутимые болезни (научились побеждать чуму и холеру, венерические заболевания и туберкулез, а XX век с его ускорениями, загрязнениями, стрессами возвел в ранг социальных проблем заболевания психические, онкологические, сердечно-сосудистые, аллергические и, наконец, озадачил СПИДом); и, наконец, неустранимые тайфуны, смерчи, землетрясения, неподвластные никакой технологии и по-прежнему таящие в себе угрозу для человеческой жизни и катастрофический материальный ущерб даже, если хорошо работает служба метео и геопрогноза. Такая двойственность итогов индустриальной цивилизации указывает на тщетность попыток человека с помощью знаний и технических средств минимизировать риск. Этот неутешительный вывод, сделанный относительно традиционных видов риска, становится более зловещим, если к нему присовокупить технологический риск, выросший в недрах технического обеспечения безопасности. Уже гибель «Титаника» (начало XX века) можно было толковать как сигнал ошибки напрямую связывать техническое совершенство, комфортность, дизайн технического объекта с его безопасностью. Чернобыль и «Курск» (конец XX века) утвердили мысль о том, что создатели сверхсложных технологий, несмотря на наличие N степеней защиты от множества просчитанных потенциально аварийных ситуаций, не имеют права утверждать, что они гарантируют штатную работу их детища в течение всего срока его функционирования, что риск элиминирован и приближается к нулю, поскольку эти катастрофы представляют собой то, что *не могло случиться* (по соображениям технической рациональности). Человеческий ум, даже в его коллективной форме, может предвидеть и разработать средства против действия некоторых причин, грозящих катастрофой, но предугадать роковое стечение обстоятельств (конstellацию вполне случайных факторов) — внешних, природных в виде айсберга в случае с «Титаником» или внутренних в виде издержек управления или человеческого фактора в случае Чернобыльской АЭС — не может. И никакое умножение, усложнение, удорожание, усовершенствование защитных механизмов не снимет этой неспособности. Все это подводит к выводу, что индустриальная эпоха заканчивается под знаком наращивания риска как такового или всевозможных рисков.

В сознании человека цивилизационный риск вплоть до Чернобыля воспринимался как необходимая плата на пути прогресса, движения к лучшему существованию всех и каждого в отдельности. Риск оправдывался будущим благополучием, справедливостью, свободой — тем, что в коммунистической идеологии называлось «светлым будущим». Провалы, неудачи расценивались с точки зрения временной неполноты знаний или побочного заблуждения человеческого разума, понятных и легко прощаемых человеком, абсолютно верящим в могущество научного знания, в возможность дойти «до полной учености». Риск уже не простая константная случайность, которой можно избежать простым способом не ввязываться в рискованное предприятие, а величина константно необходимая, в каждом случае имеющая вероятностное измерение своей актуализации, но независящая от воли отдельного человека не принимать участия в чем-то или получше подстраховаться. Последнее возможно только в отношении отдельных видов риска (выходить из дома в пургу или нет, лететь на самолете или ехать автобусом и пр.). В позднецивилизационную эпоху средний (в смысле развитости, доходов, доступа к информации) человек осознает, что живет в рисконасыщенном мире и что такое положение вещей не зависит от его желаний, а часто и не имеет выбора. Например, он живет в заведомо неблагоприятной местности, с загрязненной водой и воздухом, но частным образом не может ни оздоровить ее, ни переехать; или работает на вредном производстве без соответствующих компенсаций, поскольку просто-напросто другой работы нет. Если человек в эпоху естественного риска жил, довольно спокойно реагируя на его присутствие в мире, принимая его как данность свыше, то в конце индустриальной эпохи совокупный цивилизационный риск, сотворенный самим человеком, воспринимается им как неизбежное зло, которого нельзя избежать.

Научное осмысление цивилизационного риска вышло далеко за пределы общего вероятностного определения этого явления. Во-первых, качественные изменения в условиях обитания человека, во-вторых, появление принципиально новых сверхсложных производств и технологий, в-третьих, небывалые процессы международного сотрудничества, международного разделения труда и международной кооперации привели к расширению научных отраслей, занимающихся отдельными аспектами проблемы рисков. Помимо всевозможных рисков страхования появились исследования финансовых рисков (как в масштабах национальных экономик, так и в масштабах мировых финансовых рынков), рисков управления и, наконец, исследования, получившие название «оценка технологического риска». Фактическое удвоение природы или создание антиприроды, ставшее результатом разворачивания индустриальной цивилизации, которое выразилось в виде статичной материальной среды (производственных помещений, складов, передвижных емкостей — «контейнерной» природы) и динамичного накопительного загрязнения основных природных компонентов (земли, воды, воздуха), в последней четверти XX века привело к пониманию недостаточности предварительной калькуляции риска в чисто техническом направлении. Что, в свою очередь, привело к повсеместному (по разным странам и континентам) распространению исследовательских независимых структур по оценке технологического риска новых технологий и отдельных объектов, предшествующей их внедрению. Это означало не только проведение конртэкспертизы проектов (до этого в документации проекта наличествовала обязательная экспертиза всех его узловых компонентов в рамках техники безопасности), но и расширение экспертизы за пределы внутренних взаимоотношений этих узлов между собой в сторону взаимоотношений будущего объекта или технологии с внешней средой, с обществом, с политическими и нравственными ценностями общества и отдельных людей, чьи интересы так или иначе этот проект затрагивает. Отсюда началась

переоценка роли специалиста, который решал вопрос о безопасности внедряемой технологии исключительно на основе знаний и расчетов своей узкой специальности, не допуская к обсуждению не только профанов, которые потом возможно будут работать или жить рядом с новым объектом, но и специалистов смежных и вообще других, точнее чисто гуманитарных или естественных — не технических наук. Так получалось, что, по мнению некоторых физиков-ядерщиков, химики-ядерщики не могли высказываться и тем более настаивать на своем при решении вопросов о безопасности реактора. Вместе с переоценкой представлений об абсолютной ценности и абсолютном благе научно-технического движения, постепенным отказом от понятия «прогресс», описывающего движение истории и техники, отходом от тотальных ценностей потребления шло осознание важности вопроса о цене риска. Риск стал постоянной заботой общества и среди прочего послужил стимулом к пересмотру самых общих, «святых» представлений о возможностях науки, техники, человеческого разума. Основной сдвиг в научном обслуживании рисков, происшедший в конце индустриальной цивилизации, можно охарактеризовать таким образом: совершился переход от простой калькуляции риска к его оценке. Оценка включает в себя помимо учета технической, формальной рациональности и рациональную, нравственную, которая не поддается точной калькуляции в общезначимых единицах.

Риск глобальный.

Эпоха постмодерна в науке, постиндустриальных ценностей в обществе, начала XXI века и начала III тысячелетия сопряжена с принципиально новым статусом риска в мире в целом, связанным с тем, что мир в планетарном масштабе оказался в необратимой ситуации неизбежного риска после кумулятивного перенасыщения планеты последствиями техноиндустриальных, природных катастроф и человеческих ошибок. Из величины вероятностного свойства он превратился в определяющую характеристику человеческой жизни — перед человеком вновь встала задача выживания и адаптации к новым условиям. Каждый случай индивидуального или массового, природного или техногенного риска проявляется теперь на фоне глобального риска, который означает простую вещь — на планете Земля нет ни одного укромного места, о котором можно утверждать, что оно стопроцентно экологически и социально чистое и безопасное (установленный в природе круговорот и хаотические передвижения множеств людей, технических средств, микробов, волею индивидуальных и политических никто не отменял). Человек должен заново учиться выживать в таком мире. Это требует определенных *сдвигов в мышлении каждого* из миллиардного населения в сторону приоритета жизненных ценностей. При этом *ответственным является каждый*, но ответственность распределяется между всеми в соответствии с властными полномочиями, профессиональными занятиями и личными возможностями человека. Еще одна особенность ситуации глобального риска выражается в том, что человек *не сможет держать ее под контролем без применения техники*, которая собственно и создала ее.

Во взаимоотношениях человека с природой стало очевидным, что нарушен естественный динамический баланс катаклизмов, что запас прочности в природе имеет пределы. На повестку дня поставлен вопрос о сохранении, лечении окружающей среды (не как о ликвидации последствий катастроф, что является заботой соответствующих национальных и международных организаций уже четверть века, а как об определяющей основе большой политики), о разработке специальных технологий безотходного производства, безопасной утилизации отходов, о социально, нравственно и онтологически взвешенных решениях о внедрении новых производств и технологий. Глобальное распространение риска отмечено по всем возможным направлениям угрозы

жизни, здоровью и имуществу человека — в любой точке земного шара он может стать жертвой финансового краха, экологического бедствия, технологической катастрофы, военного конфликта, политического произвола властей, терроризма, заражения и т.д. По большому счету в ситуации риска оказалось человечество в целом, когда обозначилась вероятность угрозы существованию человеческого вида.

В социальной и политической сферах тотальное проникновение риска связано с общим процессом глобализации социальных и политических отношений между государствами, регионами, крупными блоками и мировыми организациями. Любое решение между такими агентами действия выходит далеко за пределы их непосредственных интересов и неизбежно втягивает в его орбиту многие другие международные организации и отдельные государства. Исламские террористы, как правило, решают свои проблемы и насаждают свою истинную веру, действуя практически в любой стране, весьма удаленной от их собственной. Перестройка в СССР отозвалась повышением риска социальной нестабильности на огромных территориях с огромным населением. Решения НАТО о борьбе с антидемократическими режимами в Ираке и Югославии обернулись гибелью и материальным ущербом для многих сотен людей. И т.д., и т.п.

О глобальности риска техногенного происхождения уже говорилось — техника из вспомогательного средства труда превратилась в средство постепенного, поэтапного самоубийства человечества.

Что касается *осознания глобальности риска в мире XXI века рядовым, средним человеком*, то этот процесс еще только в самом начале. Обывателю свойственно стремление укрыться, не видеть очевидной принципиальной нестабильности мира, хотя его жизнь представляет собой неразрывное сплетение деятельности рутинной и насыщенной риском и в ней очень трудно или даже невозможно сделать выбор в пользу обыденности, ухода от опасности. Помимо индивидуального риска, в отношении которого человек сам принимает или не принимает решение об участии в нем, существует общая ситуация риска, когда невозможно представить, какая именно опасность будет в действительности ему угрожать — он может решиться воспользоваться авиатранспортом для перемещения в нужное ему место (что само по себе чревато риском: технический износ, погодные условия и пр.), но погибнуть от руки террориста, захватившего самолет, или от ракеты, пущенной по ошибке, а может быть для достижения политических целей, или по другой причине. Скорее всего человек, как и прежде, во времена войны всех против всех полагается на авось и волю божью.

Научное осмысление глобального риска также находится в начальной стадии. Главное смещение, происшедшее в связи с его искусственным, рукотворным созданием, состоит в том, что нарушился естественный вероятностный динамический баланс риска в мире, существовавший до широкого внедрения атомной энергетики, сверхскоростных средств передвижения и сверхтонкой компьютерной технологии связи. Случился Чернобыль, вероятность которого по единодушному мнению и подсчетам самых разных независимых экспертов была пренебрежимо мала. Вся защита атомных электростанций после Чернобыля пошла, среди прочего, по весьма дорогостоящему пути многоступенчатого компьютерного обеспечения управления любой штатной и нештатной ситуацией. Однако известно, что сложные компьютерные системы отличаются такой особенностью, как допуск непредсказуемости ее поведения в ходе эксплуатации. *Произошло усложнение вероятностного характера такого явления, как риск.* Это означает, что подсчет вероятности того или иного исхода любого заведомо рискованного дела недостаточен (как об этом уже говорилось в случае технологического риска). В компетенцию науки входит на данном этапе установление

критериев предельно допустимого риска (независимо от характера предпринимаемого дела: политического, технологического или другого); разработка общей концепции приемлемости риска; создание социальной технологии по выработке коллективных решений, соответствующих данному политическому моменту, данному уровню технических возможностей, данному состоянию общественного мнения и т.п.; выделение принципов перераспределения рисков и ответственности за принимаемые решения.

Все эти задачи представляют собой все ту же (столь неудачную) попытку упорядочить мир, но теперь сверххаотичный и сверхрискованный, обезопасить человеческую жизнь. Понятие «риск» приобрело статус определяющего понятия для характеристики и измерения постсовременных обществ и мирового сообщества в целом. Каковы основные ценности, институты, типы организаций, формы человеческого поведения общества риска, предстоит еще исследовать. Возможно не все из них уже выкристаллизовались, четко обозначились как отличные от ценностей и институтов модерна.

Литература

1. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М., 2000.
2. Никитин С., Феофанов К. Социологическая теория риска: в поисках предмета // Социс. 1992. № 10. С. 12—127.
3. Adams J. Risk. L., 1994.
4. Douglass M. Risk Acceptability According to the Social Sciences. N.-Y., 1986.
5. Douglass M. Risk and Blame: Essays in Cultural Theory. L., 1992.
6. Giddens A. The Consequences of Modernity.
7. Luhman N. Risk: A Sociological Theory. N.Y., 1993.
8. Lupton D. Risk. L.; N.Y., 1999.
9. The Politics of Risk Society / Ed. by J. Franklin, 1998.
10. Wildavsky A., Drake K. Theories of Risk Perception: Who Fears What and Why? // Daedalus. Special Issue on Risk. 1990.

РЕФЕРАТЫ

Николаев В.Г.

Майкл Манн Глобализация и 11 сентября

MANN M. Globalization and September 11 // New Left Review. L., 2001. № 12. p. 51-72.

Реферируемая статья представляет собой расширенную и исправленную версию лекции, прочитанной Майклом Манном в РГГУ (Москва) 24 сентября 2001 г. Версия датирована 9 ноября. Статья посвящена анализу состояния и перспектив глобализации с особым акцентом на связях между глобализацией и «страшной последовательностью событий, открывшейся 11 сентября».

То, что глобализация как «расширение социальных связей в масштабах земного шара» происходит, не подлежит сомнению. Важнее (и труднее) дать ответы на вопросы: как быстро она происходит; насколько далеко заходит; насколько равномерно протекает; не оставляет ли она на обочине какие-то регионы и группы; продолжится ли она в будущем? Многие существующие варианты теории глобализации не вполне адекватны поставленным вопросам. Те из них, которые изображают глобализацию как единый процесс, ведущий к гармоничному глобальному обществу, и сводят ее к экономической (транснациональный капитализм, революция в средствах коммуникации, новые массовые рынки потребительского капитализма) или иной (появление единой глобальной культуры, конвергенция государств к единой политической модели) составляющей, ложны. Другие, допускающие конфликтность этого процесса, часто оказываются «слишком узкими и системными».

По Манну, глобализация многомерна: она «не едина, а множественна» (так что правильнее говорить о «глобализациях», во множественном числе), и она «как интегрирует, так и дезинтегрирует», добавляя к разносимым по всему миру противоречиям внутри Запада и Севера противоречия внутри Юга, а также в отношениях Север—Юг. Она не всегда протекает мирно: некоторые порождаемые ею конфликты выливаются в вооруженное противостояние. Все эти черты были свойственны глобализации с самого начала, а началась она уже давно: ее история насчитывает много столетий.

Для адекватного рассмотрения перспектив глобализации Манн требует поместить их в контекст «более широкой теории общества», в качестве таковой предлагает теорию, изложенную им в двухтомной книге «Источники социальной власти» (1986, 1993). В общих чертах суть ее такова: «Преследуя свои цели, люди создают четыре основных типа властной организации: идеологическую (или, если хотите, культурную), экономическую, военную и политическую. Эта модель рассматривает глобализацию как состоящую из экспансий всех четырех указанных сетей взаимодействия, каждая из которых может иметь разные границы, ритмы и результаты, разнося по всему земному шару особые формы интеграции и дезинтеграции. Дискуссия о глобализации ни одну из них не должна упускать из внимания» (p. 52). В качестве примера Манн приводит колониальную экспансию

европейцев XV–XIX вв. Она была *множественной* и включала экспансию капитализма, империализма и идеологий (христианства, индивидуализма и расизма). Именно идеология расизма, вызвав сопротивление в колониях, помешала колониалистам создать прочные империи: «Две тысячи лет назад жители Северной Африки *стали* римлянами, вносящими свой вклад в долголетие Империи. Но в XVIII и XIX вв. африканцы не стали британцами. Исключаемые как расово низшие, они скинули британских хозяев, как только представился шанс» (р. 53). Далее Манн рассматривает четыре источника власти, определяющие сегодняшнюю траекторию глобализации.

Сначала он останавливается на **экономической власти**. Одной из сил глобализации является капитализм, который в силу своей внутренней природы «формально транснационален». Сегодня транснациональный рост капитализма достиг уровня, который был накануне Первой мировой войны, а с точки зрения коммуникаций и прямых инвестиций намного его превосходит. Капитализм в принципе мог бы стать «сплошь глобальным», если бы не три «водораздела» (*divides*), определяющих в последнее время лицо глобализации и прежде всего ее неравномерность: это раскол между Севером и Югом, между национальными государствами и между регионами.

Самый важный водораздел — между Севером и Югом (эти понятия сугубо условны, так как Австралия и Новая Зеландия относятся к Северу, а значительные части Китая, России и бывших советских республик Средней Азии — к Югу). Этот раскол создается противоречивостью «остракизирующего империализма»: «одна часть мира одновременно избегает экономики другой и господствует над ней», «самые бедные страны мира не интегрируются должным образом в транснациональный капитализм, а “подвергаются остракизму” со стороны капитализма, считающего их слишком рискованными для инвестиций и торговли». В результате «международная торговля и инвестиции становятся все более сосредоточенными в пределах Севера» (р. 53-54). Манн приводит показательные цифры. В период 1850-1950 годов торговля между Севером и Югом составляла 30% от общего объема, а инвестиции, пересекающие эту границу, — 50%. К началу 80-х годов обе цифры упали до 20%; причем в этих расчетах Япония и восточно-азиатские «тигры» учитывались как часть Юга, и при отнесении их к Северу доля торговли и инвестиций, сосредоточенных внутри Севера, составила бы 90%. При сохранении данной тенденции доля Африки, Среднего Востока, Латинской Америки, Восточной Европы и стран бывшего СССР (40% мирового населения) составит к 2020 г. всего 5% мировой торговли. Таким образом, «экономическая “глобализация” есть по большей части Northernization, которая интегрирует развитые страны, но исключает значительную часть бедного мира и тем самым углубляет неравенство в росте и благосостоянии между Севером и Югом» (р. 54). Между тем этот остракизм лишь частичен: Север господствует над Югом, торгует с ним и вкладывает в него деньги. При этом для отношений между Севером и Югом характерен «неравный обмен», и Манн выделяет два механизма его поддержания. Первый — «вековая тенденция к снижению цен на сырье по сравнению с ценами конечных продуктов». Второй — колебания процентных ставок по кредитам, приводящие время от времени к масштабным долговым кризисам (таким, какой произошел в 80-е годы) и тем самым дающие Северу (и, в частности, подконтрольным ему международным финансовым институтам, таким, как МВФ, Мировой банк и т. д.) повод к вмешательству в экономическую политику государств Юга. «Такие интервенции часто вполне резонно воспринимаются Югом как экономический империализм» (р. 55). В ближайшем будущем возможна перегруппировка экономических сил в рамках водораздела Север-Юг. Так, возможно постепенно вхождение в Север быстро развивающихся Индии и Китая (на Китай приходится 50% инвестиций Севера в Юг). Что касается России, то она, по мнению Манна,

«раздваивается»: «ось Москва-Петербург становится вполне принадлежащей Северу, тогда как почти вся остальная часть страны остается в составе Юга». Несмотря на возможность таких перегруппировок, «мир никогда не видел равномерно распределенного процесса глобального развития» и вряд ли увидит его в будущем: «Север крадется вовне, но водораздел остается» (р. 55).

Другой важный фактор неравномерности глобального экономического развития — сохранение и рост значимости национальных государств (nation-states), остающихся «неподатливыми сетями экономического взаимодействия» и обеспечивающих «основной объем политического регулирования, требуемого капитализмом». Так, через торговлю внутри национальных границ реализуется 80% производимой в мире продукции; рынки труда остаются главным образом национальными (уровень международной миграции рабочей силы сегодня ниже, чем накануне Первой мировой войны). Положение национальных государств Севера и Юга несколько отличается. Если на Севере движение к экономической интеграции и регулирование экономических конфликтов между государствами и международными институтами оставляют национальным государствам роль «важных акторов», то южные страны, уступая в экономическом могуществе Северу, теряют способность сопротивляться «глобализации по-северному». Во многих правительствах Юга тон задают «реалисты» и экономисты Чикагской школы, служащие проводниками исходящих от Севера рецептов и программ экономического развития. В условиях углубления неравенства между Севером и Югом недовольство населения обращается на правительство; еще одной силой, противостоящей правительству, становятся ущемленные местные элиты, чьи интересы оказываются всерьез задеты его неолиберальными мерами. При этом экономический конфликт переходит из разделения Север–Юг внутрь южного национального государства, «ослабляя сплоченность обществ и государств Юга и еще более снижая их способность к сопротивлению» (р. 56).

Наконец, в экономической политике есть макрорегиональные различия. В пределах Севера Манн связывает их с тремя основными типами «западных» режимов: либеральным, корпоративным и социал-демократическим. Сегодня наиболее сильны либералы во главе с США; при этом Манн подчеркивает, что «американская экономика, в отличие от вооруженных сил США, не обладает гегемонией над соперниками» (р. 57). Либеральная экономическая политика в наибольшей степени способствует углублению неравенства, и при определении перспектив надо исходить из этого. В будущем региональные различия будут углубляться (особенно если в Север вольются Китай, Индия и Россия); будут расти разногласия между США, Европой и Японией; а в случае ослабления гегемонии США возможно появление серьезных «трещин» внутри Севера.

Вывод Манна из рассмотрения экономического аспекта глобализации: «Капитализм глобализует, но с «северным» лицом. Общий дрейф остается опосредованным национальными и макрорегиональными различиями» (р. 57). Самые опасные конфликты, вызываемые описанными процессами, возникают на Юге; но «самим по себе их недостаточно, чтобы вызвать острый конфликт на глобальном уровне, ибо пар по большей части уходит в противостояние внутри государства» (р. 57).

Далее Манн переходит к анализу распределения **военного** могущества: в этой сфере, на его взгляд, в последнее время произошли «самые драматические» изменения. «Впервые в истории человечества война, по крайней мере между великими державами, стала абсолютно иррациональной в качестве средства достижения человеческих целей» (р. 57). Это связано с обладанием ядерным оружием. Военная гегемония США, усиленная распадом СССР, достигла невиданных масштабов: оборонные расходы США

равны сумме оборонных расходов 12 следующих по значимости военных держав. Следствием военной гегемонии США стал пацифизм старого Запада: между государствами Западной Европы войны немыслимы, а от Юга они укрыты «американским зонтиком». Север «принимает военное господство США как необходимое для собственной обороны» и «интегрируется как единая военная система» в противовес Югу; это устанавливает «не имеющие прецедентов в истории степень и форму военной гегемонии» (р. 58).

Однако консенсус, объединяющий Север, не распространяется на Юг, и, хотя для стран Юга война, видимо, тоже станет иррациональной «со временем, когда они приобретут ядерное, химическое или биологическое оружие» (р. 57), в настоящее время они могут использовать войны для разрешения споров. Вне Севера Манн усматривает два основных военных «водораздела» (*divides*).

Первый связан с региональными державами, «на которые США не имеют ни желания, ни способности оказывать принуждение» (р. 58). Это прежде всего Китай, Россия, Индия, Пакистан. Они ищут выгод от сотрудничества с США и подконтрольными им финансовыми институтами, но не терпят американского господства. С Россией у США нет серьезных разногласий, равно как с Индией и Пакистаном (несмотря на их опасный взаимный антагонизм); помимо прочего, «эти государства имеют общий интерес к переопределению некоторых своих врагов как “исламских фундаменталистов” — предположительно, легитимируя тем самым их подавление» (р. 58). С Китаем есть спор вокруг Тайваня, и США «отчаянно надеются, что Китай не будет проводить воссоединение агрессивно» (р. 59). Эти державы избегают войн, но в конечном счете риск остается.

Вторая разделительная линия пролегает между США (а также Севером в целом) и теми силами Юга, которые не имеют военной мощи, сколь-нибудь сопоставимой с военной мощью США. Эти силы выработали особые способы сопротивления, в результате чего в последние десятилетия «военное господство Севера над Югом ослабевало» (р. 59). На этом фоне ясно обнажились «слабые места» Севера и, в частности, американцев. Манн указывает на два таких места. Одно связано с возобладавшем на Севере пацифизмом: общественное мнение на Севере (и в том числе в США) не готово мириться с потерями среди своих солдат. Отсюда избегание применения сухопутных сил на чужой территории и дополнительный идеологический козырь в руках, например, тех же исламских фундаменталистов: когда в 1997 г. американцы после людских потерь ушли из Ливана и Сомали, Осам бен Ладен заявил в интервью CNN, что победили «бедные, безоружные люди, чьим единственным оружием была вера в Аллаха всемогущего». Вторая слабость долгое время была не видна на фоне увлечения высокотехнологичным оружием (ядерными боеголовками и ракетами с лазерным наведением), и связана она с тем, что в последнее время произошла настоящая революция в «оружии слабых»: «на смену АК-47, упрощенному, массово производимому, носимому в руках автомату, пришли носимые на плече ракеты земля–воздух и противотанковые ракеты», так что чеченский боевик ракетой стоимостью 200 долларов уничтожает танк стоимостью 1 млн. долларов (притом что пехота избегает ввязываться в бой и оставляет танк неприкрытым). Упомянутая революция напрямую связана с глобализацией: партизаны «имеют доступ к глобальной индустрии — контрабанде оружия, — через которую глобализация, объединяя, фрагментирует и убивает» (р. 59–60). События 11 сентября показали новый вид применения «оружия слабых» — когда «десяток террористов, вооруженных ножами и гражданскими самолетами, убили более 3 тысяч человек и уничтожили... ключевые символы экономической и военной мощи США», — и обнажили уже наметившуюся «тенденцию в войнах XX века: растущий выбор гражданского населения в качестве

мишени» (р. 60). Оружие для подобных акций («ножи, мобильные телефоны, Интернет» и т. п.) свободно продается на глобальных рынках; «требуется лишь добровольцы-самоубийцы».

Относительно военной сферы Манн делает два основных вывода. Первый: военное могущество Севера над Югом ослабевает, ибо, в отличие от империй XIX века, обладавших адекватной огневой мощью для военного и политического подчинения противника, нынешний Север не имеет эффективных средств воздействия на враждебные политические режимы (бомбардировки с воздуха этого не обеспечивают). Второй вывод: «возникает дуальный военный мир... состоящий из “зон мира, зон беспорядка”»: в основном зараженный пацифизмом Север существует рядом с регионами вооруженных беспорядков» (р. 61). Манн особо подчеркивает также несовпадение военных «разделительных линий» с экономическими, политическими и идеологическими.

Следующий раздел статьи посвящен **политическим** аспектам проблемы. Главный фактор здесь — роль национальных государств, которые, несмотря на «распространенную веру, что нация-государство подрывается глобализацией», остаются «единственными акторами, обладающими авторитетной регулятивной властью над своими территориями и воздушным пространством», даже в тех случаях, когда они сотрудничают в решении глобальных проблем (например, экологических). «Государства остаются, но степень конвергенции между ними развивает высокий уровень интеграции на глобальном уровне» (р. 61–62). При мирном взаимодействии между государствами возможно становление «единой глобальной политической культуры», «единого международного мирового порядка». Противоречивый и не всегда мирный характер этого процесса мешает достижению такого результата: «Демократия и развитие остаются обманчивыми. Они до сих пор не распространились равномерно по всему миру» (р. 62). Манн выделяет два основных препятствия для демократии.

(1) XX век показал «трудность достижения демократии в многоэтнической и мультирелигиозной среде». В таких средах демократический лозунг «власть народа» обычно превращался в программы господства одной этнической или религиозной группы над другими, поскольку сам «народ» интерпретировался в этнических или религиозных терминах. Следствием становятся гражданские войны и этнические чистки — «темная сторона процесса демократизации». Это «по сути современная проблема, порожденная глобальной диффузией идеала “власти народа”». То, что было прошлым для Севера, стало настоящим для Юга; «политические искривления модерна глобализируются» (р. 62).

(2) Второе препятствие — все большее экономическое отставание Юга, порождаемое «остракизирующим империализмом» на фоне глобализованного стремления всех государств к экономическому развитию. Глобальные СМИ и культ потребления, создавая «фантастический образ экономического изобилия», подогревают это стремление. Недовольство населения, вызываемое неудачей в развитии, ослабляет легитимность южных политических режимов и оказывает «воспламеняющее» воздействие на упомянутые ранее «зоны беспорядка», продуцируя политические конфликты в странах Юга и между ними и Севером.

На фоне межэтнических и межрелигиозных конфликтов и экономических провалов Север (в основном в лице США) вмешивается в ситуацию в южных «зонах беспорядка» и тем самым лишь усугубляет в них нестабильность. Манн выделяет три вида вмешательства: неолиберальные программы реструктуризации южных экономик; поддержка южных режимов-сателлитов; поддержка каких-то из участников этнических и религиозных конфликтов на Юге. Все три вида вмешательства провоцируют недовольство местного населения и обостряют локальные конфликты; взрывоопасную

смесь всех трех мы имеем на Ближнем Востоке. Корни «крайней реакции 11 сентября» следует искать здесь (р. 63).

Вместе с тем Манн подчеркивает: Ближний Восток — «крайний случай». «Никакая другая зона беспорядка не видит всех трех видов вмешательства, а некоторые и вовсе никаких не видят» (р. 63). В последнем случае образуются «черные дыры»: «регионы, страдающие от остракизма, но не от империализма». Таких много в Африке (Сахара, Руанда, Бурунди, Конго и т. д.). В этих местах сопротивление «уходит внутрь»: насилие не направлено против империализма Севера и «представляет мало угрозы для остального мира». «Политическая глобализация может включать некоторое число таких “черных дыр”» (р. 64). Одно из ключевых отличий «черных дыр» от зон «антиимпериалистической борьбы» следует искать в идеологических факторах.

Идеологическому аспекту глобализации посвящен последний, самый большой раздел статьи. Манн исходит из того, что единое мировое общество, создаваемое глобализацией, невозможно без единого культурного сообщества, и идеологическое господство принадлежит «тем, кто может предложить системы значений и мобилизующие ритуалы, создающие правдоподобный смысл мира, в котором мы живем» (р. 64). Север выдвинул несколько идеологических систем, обладающих серьезным глобализующим потенциалом. Манн выделяет три из них: потребительскую культуру, либеральный гуманизм и английский язык. Диффузия всех трех культурных продуктов имеет противоречивый характер. По Манну, «наиболее успешна глобализация дешевых культурно-потребительских благ: моды, напитков, фаст-фуда, поп-музыки, телевидения и кино» (р. 64). Доступность этих товаров даже для неимущего тинэйджера благоприятствует утверждению глобальной молодежной культуры, и это можно считать «самым важным интегрирующим эффектом глобализации», так как «капиталистическое потребление глобально протаскивается... в частную жизнь людей». Вместе с тем гомогенизация на микроуровне повседневной жизни не распространяется на такие макрообласти, как политика: приобщение к глобальным потребительским образцам не мешает сербам и албанцам в Югославии убивать друг друга. При всей привлекательности либерального гуманизма с его идеей «всеобщих прав человека» и «критикой эксплуатации, угнетения и коррупции», это слишком мирская и по-американски окрашенная идеология, чтобы ее мог принять Юг, недовольный экономической и военной политикой США и Севера в целом. Некоторые элементы либерального гуманизма (приоритет прав человека над экономическим благополучием и общественной безопасностью, феминизм) часто вообще воспринимаются как неприемлемые. Такие военно-политические акции, как американская бомбардировка афганцев, также подрывают доверие к северной демократии. Английский язык глобализуется как средство общения в «современных секторах», прежде всего в секторе бизнеса, но не более того.

В противовес «единой северной глобальной культуре» Юг выдвигает многочисленные контр-идеологии, имеющие этническую и/или религиозную окраску: «весь Юг охвачен этнонационализмом и движениями религиозного возрождения» (р. 65). В одной только Индонезии шесть таких движений. Подрывая стабильность в странах Юга и делая их непривлекательными для инвестиций, этнонационализм невольно укрепляет «остракизирующий империализм». Манн отмечает, что этнонационализм есть «часть глобальной модернизации, а не периферийная реакция на нее», и следствием его становится «идеологическая фрагментация» (там же). Некоторое время назад социализм обеспечивал «более широкое сопротивление», «правдоподобно интерпретируя колониальное и постколониальное угнетение в терминах капиталистического империализма»; ныне он стал «идеологией черных дыр» (р. 66).

Основное сопротивление северным идеологическим влияниям облечено сегодня в религиозную форму. Если в пик антиколониальной борьбы главным врагом религиозных фундаменталистов после ухода колониалистов становились местные политические элиты, отождествлявшиеся с господством Запада, то там, где утверждалась американская военная гегемония, таким врагом становились «местные светские элиты, стоящие на службе американского империализма». Хотя фундаменталистские религиозные движения возникли не только в исламе, именно ислам занял в этом плане лидирующие позиции в Африке и Азии. Манн отмечает две причины этого: (1) давнюю способность ислама «вскармливать сопротивление против иностранного империализма» и (2) особую способность ислама порождать внутри себя «военные секты» (р. 66–67). Ваххабиты, стоящие у власти в Саудовской Аравии и других государствах Персидского залива, были в прошлом именно такой сектой; считается, что они «приложили руку» к событиям 11 сентября.

Деятельность многих исламских фундаменталистских движений имеет локальный характер и направлена на утверждение шариата в их сообществах: «они ненавидят иностранные влияния в своем регионе, но им нет никакого дела до более широкого “империализма”». Между тем, некоторые среди исламских фундаменталистов (Манн называет их «воинствующими фундаменталистами») не ограничиваются призывом к джихаду («борьбе во имя Аллаха») и вдобавок к этому подчеркивают *qital* («вооруженную борьбу» против врагов ислама). Они находят оправдания этого призыва в Коране: например, «угнетение даже хуже, чем убийство» (р. 191). Такие ссылки позволяют им определять правителей мусульманского мира как «больше не мусульман»; а «когда мусульманские и неверные угнетатели кажутся сросшимися в мирской и материалистической оболочке, резонанс призыва к оружию возрастает еще больше» (р. 68). Сила «воинствующего фундаментализма», по Манну, состоит в том, что он «дает объяснение реальных социальных условий и предлагает правдоподобную, хотя и рискованную стратегию их исправления» (там же). Наибольший резонанс это идеологическое течение получает в тех местах, где сталкиваются бедность Юга и империализм Севера (Ближний и Средний Восток, Чечня). Так, бен Ладен в видеообращении 7 октября трижды ссылался на «угнетенных палестинцев» и один раз на «изгнание армии неверных с земли Мухаммеда», тогда как прежде его риторика была сосредоточена больше на Саудовской Аравии, нежели на палестинцах (р. 69). Последнее обстоятельство высвечивает такой важный факт, как противостояние внутри мусульманского мира.

Религиозная идеология радикальных мусульманских движений придает локальным конфликтам религиозную окраску, определяет врагов в религиозных терминах и дает борьбе с этими врагами «более глобальную космологию», ясно выраженную в заявлениях бен Ладена о том, что мусульмане сражаются против «неверных» (за этим стоит борьба Добра со Злом, борьба Бога против Шайтана). Такой призыв «в особенности способен рекрутировать молодых, образованных диссидентов в авторитарных государствах и молодых беженцев, гонимых конфликтами по всему мусульманскому миру; ни у тех, ни у других в условиях стагнирующей экономики нет будущего. Эти две группы не очень велики, редко генерируют ресурсы, позволяющие захватить власть. Однако... они пользуются симпатией значительной части бедных и среднего класса мусульманского мира» (р. 69–70). По мнению Манна, можно смело предсказывать, что «одной только военной мощью угроза воинствующего фундаментализма не будет устранена ни в одной из этих религий. На самом деле это, вероятно, только подольет масла в огонь, так как, видимо, будет лишь подтверждать космологию, предложенную воинственными фундаменталистами. Недовольные образованные лидеры и беженцы — ключевые элементы, которые будут поставлять

поколения молодых мужчин и, возможно, женщин, готовых идти на риск и даже пожертвовать своей жизнью во имя такого могущественного видения... Среди них будут очень немногие, которые будут осознанно выбирать самоубийство в бою. Это стало крайним оружием слабых против могущественных этого мира. Смогут ли они когда-нибудь повторить такой ужасный акт, как 11 сентября, зависит от того, будут ли найдены столь же неожиданные технические средства. Но северяне в целом должны теперь бояться этой возможности» (р. 70).

Нынешняя конфронтация, по мнению Манна, не была неизбежной. Она в значительной мере результат американской политики в отношении коммунизма, Израиля и нефти. Борясь против коммунизма, США поддерживали религиозный фундаментализм и сами взрастили своего нынешнего противника. Поддерживая Израиль со дня его образования, США продолжали это делать даже тогда, когда он превратился из «жертвы» в «угнетателя». Интерес к нефти заставил США расквартировать войска в Саудовской Аравии и странах Персидского залива, совершить нападение на Ирак, что разогрело фундаменталистские настроения в этом регионе. В качестве мер, которые могли бы охладить противостояние, Манн предлагает более взвешенный подход США к палестинской проблеме, переориентацию помощи арабским странам с военной на экономическую и принятие более прогрессивной стратегии международного развития. Такие меры не решили бы проблему полностью, но позволили бы избежать крайностей.

В завершении статьи Манн подводит некоторые итоги. Глобализация происходит; это «реальный процесс»; но она множественна, противоречива и неравномерна. Мир остается разделен на части несколькими не совпадающими друг с другом «разделительными линиями» (экономического, политического, военного и идеологического характера); это сопряжено с различного рода конфликтами, разрешаемыми иногда мирно, а иногда — силой оружия. «Такая комплексность не нова для человеческих обществ. Глобализация просто меняет свои масштабы». Анализ фактов заставляет считать, «что мы в настоящее время вовсе не движемся к единому глобальному обществу». И, увы, новые идеологии воинственного характера и новые разновидности оружия слабых, проявившие себя в событиях последнего времени, «являются частью глобализации в такой же степени, как доллар, Интернет или Кока-кола» (р. 72).

*Степан Мештрович**

Энтони Гидденс. Последний модернист

Anthony Giddens. The Last Modernist. London and New York: Routledge, 1998. – 242 p.

Автор рассматривает свою работу не как традиционное исследование творчества Э.Гидденса, а «как средство вступить в дискуссию относительно модерна, постмодерна, культуры, а также относительно сегодняшнего значения классической социальной теории» (с.1). Более того, книга задумана как полемическая, причем полемика направлена не столько против Гидденса персонально, сколько против его воззрений, воплощающих те тенденции в современной социологии, которые автор не приемлет.

Мештрович признает, что его исследование не носит «сбалансированного» характера, оно сосредоточено на слабостях социологической теории Гидденса. Поскольку сбалансированная критика очень широко представлена в литературе, причем большая часть работ открыто почтительны по отношению к объекту критики, автор задался целью восстановить равновесие между хвалебной и действительной критикой. Главное же в том, что «сбалансированная критика» является по своим исходным моментам модернистской, а авторская ведется с антимодернистских позиций.

Анализ творчества Гидденса Мештрович начинает с рассмотрения проблем социологического метода. По его мнению, книга «Новые правила социологического метода» – наиболее важная из всех работ английского социолога. Здесь в полной мере проявляется подход Гидденса к трем темам, на которых были сфокусированы теоретические интересы Гидденса на протяжении всей его жизни: истоки социальной науки в XIX в.; темы, которые перешли в следующий век; отношение к современной социальной теории. Кроме того, «данная книга – переходная от творчества раннего Гидденса как толкователя классической социальной теории к его поздним работам, пропагандирующим теорию структуризации и синтетическое конструирование социальных традиций» (р. 40).

Сравнивая «правила социологического метода» у Э.Дюркгейма и Гидденса, Мештрович приходит к выводу, что Гидденс по существу стремится противопоставить свои правила «старым» правилам Дюркгейма, несправедливо оценивая последнего как теоретика XIX в. Дело не только в том, что Дюркгейм жил и творил веком позже. Гидденс явно недостаточно учитывает воздействие на Дюркгейма культурной атмосферы конца XIX в., когда «теоретические результаты» уходящего столетия были подвергнуты критике.

Автор упрекает Гидденса за то, что, обратившись к вопросу о правилах социологического метода, он едва касается соответствующих позиций Дюркгейма

* Степан Мештрович (Stjepan C.Meštrović) – профессор социологии в Texas A&M University.

и сосредотачивает свое внимание на некоторых воззрениях Мида, Уинча, Витгенштейна, Шютца, Гарфинкеля, Хабермаса и др., не обосновывая своего выбора и беря у них только то, что способно подкрепить его собственные взгляды. Вообще, Гидденс при формулировании своих позиций мог и не облекать их в анти-дюркгеймианскую форму.

«Модернизм» Гидденса – главная критическая мишень Мештровича. Другими объектами критики являются забвение ряда классических теорий, недоучет значения культуры, а также интерпретация Гидденсом признаваемых им социальных теорий.

В книге не рассматривается такой важный вопрос, как различия между теорией структуризации Гидденса и его теорией модерна. Автор ограничивается указанием на то, что теория структуризации является модернистской, поскольку опирается на абстракцию, отстает от индивида и его агентности; ей присущи те же посылки, противоречия, двусмысленности, что и остальному творчеству Гидденса. Конечно, в некоторых работах, например, «Конституирование общества», «Национальное государство и насилие» и «Последствия модерна» Гидденс дает достаточно резкую критику модерна. Так, он представляет модерн как «колесницу», отмечает кризис, проистекающий из чувства онтологической неуверенности, обусловленной усилением рефлексивности, указывает на усиление социального контроля и некоторые другие явления, присущие модерну. И все же Гидденс остается «модернистом».

Сопоставляя воззрения Парсонса и Гидденса, автор утверждает, что и тот, и другой не обращали внимания на «иррациональное социальное действие» как компонент агентности. Гидденсовская теория агентности является неполной, поскольку не учитывает эмоции и их контекст, не учитывает культуру.

Между тем более завершенная концептуализация должна сосредоточиться на процессе культурного и индивидуального конструирования агентности, на объяснении того, каким образом формируется «чувство агентности», как возможен рациональный контроль, несмотря на могучую силу человеческих страстей, человеческой воли. Эта сила концептуализируется посредством таких понятий, как «оно» (id) или «анализ». Объяснение должна получить и способность людей преодолевать свой эгоизм с тем, чтобы вступать в коммуникацию и образовывать общества. В какой-то мере объяснением способна служить идея Дюркгейма о том, что у людей должна быть какая-то наивная вера в общество, в социальные факты как некоторые гаранты объективности.

Гидденс обращается к рассмотрению эмоций, когда речь идет о некоторых женских ролях, прежде всего тех, что связаны с интимной сферой. Но при этом Гидденс, как отмечает автор, ограничивается воспроизведением распространенных стереотипов относительно мужчин и женщин, считая, что женская эмансипация должна заключаться в отказе от эмоциональности и принятии стандартов мужской рациональности.

И в данном случае предпочтительнее подход Дюркгейма, гораздо более сложный и более соответствующий современным социальным условиям.

Что касается политики, то, по мнению автора, ход событий, по крайней мере после крушения коммунизма в Европе, не опровергает предсказания Гидденса и других социологов. Ассимиляторским и глобализаторским тенденциям противостоят процессы расщепления национальных государств. Балканизация становится уделом и Запада. Более правильной представляется оценка тех ученых, которые считают, что глобализация и балканизация осуществляются одновременно.

Современные социальные процессы не согласуются также и с «общим и поверхностным оптимизмом работ Гидденса». Эти процессы в своей негативности далеко выходят за рамки «рисков современной жизни», о которых говорит Гидденс. Речь идет прежде всего об этнических конфликтах, распространении социального бессилия и беспомощности, об осознании западными людьми того, что они не в состоянии изменить мир. Те, кто считает желательным завершение проекта Просвещения, например Хабермас, кажутся наивными. Столь же наивными представляются и те, кто считает этот проект уже завершенным, например Фукуяма. К числу наивных теоретиков Мештрович относит и Гидденса. Особенной это касается его ранних работ, посвященных политике. В некоторых поздних работах, прежде всего в «По ту сторону правой и левой» он приходит к осознанию проблем, сопряженных с проектом модерна. Рефлексивность, как выясняется, оказывается недостаточной для осуществления желанной демократизации.

Вместе с тем Гидденс отказывается присоединиться к Бодрийяру и другим в критике присущих проекту Просвещения элементам лицемерия, угнетения и нежизнеспособности. Он не признает, что синтетические традиции могут использоваться в сугубо авторитарных целях. Гидденс стремится найти какой-то средний путь между указанными позициями, но при этом остается модернистом. Предлагаемое им создание синтетических традиций, призванных способствовать преодолению трудностей, с которыми столкнулся модерн в плане достижения социальной солидарности, не отличается принципиальным образом от других крупномасштабных экспериментов по социальной инженерии, которые предпринимались в XX в.

Кроме того, творчество Гидденса включает в себя «зловещую» программу социальной инженерии применительно к человеческим эмоциям, программу, которую он обозначает как посттрадиционалистское конструирование синтетических традиций. Мештрович считает, что модернистская манипуляция эмоциями несет в себе возможность новой формы тоталитаризма.

Говоря об отношении Гидденса к постмодерну, теория которого соперничает с теорией структуризации, автор указывает на недостаточную обоснованность критики английским социологом постмодерна. Более того, теория структуризации весьма близка к тому, что называется утвердительным постмодерном. Это благодушное рассмотрение постмодернового мира как мира терпимости и глобализации.

Программа Гидденса оставляет без внимания ряд фундаментальных вопросов, что делает весьма возможной трансформацию его «благодушной» программы в еще одну модернистскую программу социального угнетения. Он не обосновывает стандарты, которые призваны стать универсально применимыми при реализации его программы социального обновления, в частности, не учитывает ту роль, которую играют «культурные фильтры» при интерпретации таких явлений, как рефлексивность, демократия, справедливость, не указывает, кто будет ответственно реализовывать упомянутую программу всеобщего социального обновления.

Иллюстрацией неадекватности программы «диалогической демократии» могут служить кровавые события в Боснии, происходившие на глазах ничего не предпринимавшей просвещенной западной общественности. Кроме того, Гидденс оказался не в состоянии понять то ключевое обстоятельство, что советский коммунизм представлял собой модернистскую систему. Грандиозный провал коммунизма в Югославии, связанные с ним организованный террор, этнические

чистки, выселения целых народов, убийства оппонентов, уничтожение меньшинств и т.д. должны были бы подвинуть Гидденса и других теоретиков к углубленному анализу изъянов модернистского проекта при рациональном построении государства в Советском Союзе и в Югославии.

Представляя традиционалистских фундаменталистов в качестве тех, кто стоит на пути демократизации, Гидденс не указывает, кто конкретно имеется в виду. Неясно, идет ли речь об исламских фундаменталистах, американских новых правых или фундаменталистах-евангеликах. Неясно также, можно ли вообще считать современных фундаменталистов традиционалистами. Ведь и собственные послышки Гидденса можно квалифицировать как «разжиженный просветительский фундаментализм». Его рассуждения апеллируют к вере в проект Просвещения, они не опираются на надежные аргументы, призванные продемонстрировать, что этот проект способен привести к созданию достойного и нравственного мира.

К числу теоретических недостатков воззрений Гидденса (точнее, присущих им противоречий) следует отнести и противоречие между, с одной стороны, изображением им консолидированного национального государства как носителя демократии и утверждениями о благотворности глобализации, а с другой – его отношением к интернационализации и космополизму. Мировая нация не может всерьез принимать национальный суверенитет. В то же время национальное государство, каким его представляет Гидденс, не может допустить ущемления своего суверенитета посредством глобальной коммуникации, утверждения прав меньшинств и т.п.

Несмотря на заявленное неприятие постмодернизма, Гидденс разделяет многие его послышки. Вместе с тем такая неоднозначность позиции не влияет отрицательно на репутацию Гидденса, поскольку вполне соответствует общей неоднозначности, точнее, нежеланию принять какую-то одну определенную точку зрения, которая столь распространена в современном западном обществе. Большинство других приверженцев модерна также не могут однозначно и четко определить свою позицию по многим вопросам. По мнению автора, такая интеллектуальная неоднозначность в значительной мере присуща современной социологии.

В то же время, считает Мештрович, социология должна оставаться «спонтанной и дикой», ведь классики социологии, как и вообще классики социальной теории, были твердо убеждены, что жизнь – это постоянное течение и поток. Соответственно модерн рассматривался ими как определенная стадия в таком потоке, а не как нечто статичное, подлежащее сознательному контролю.

Социология всегда была многообразна и вариативна, особенно до того, как Парсонс свел воззрения её основателей в единую парадигму. Более того, был составлен краткий список предшественников теории действия. Не удивительно, что целое поколение социологов после Парсонса читало его произведения вместо того, чтобы читать Дюркгейма, Маркса, Зиммеля, Парето и др.

Даже самые суровые критики признают, что Гидденс привнес порядок в социологию. Успех Гидденса – это «свершившийся факт», связанный с потребностью людей в порядке в мире, который постмодернисты характеризуют как бессмысленный и хаотичный. Имея традиционную социальную теорию, с одной стороны, и постмодернистов – с другой, приверженцы «главствующей» (mainstream) социологии находят утешение в модернизме Гидденса, который мягче, чем строгий проект Просвещения, подвергшийся в последнее время суровой критике, и вместе с тем позволяет избежать постмодернистского хаоса.

«Гидденс в состоянии предстать и как критик модернизма, и как модернистский мыслитель» (с. 215).

В теории структуризации Гидденса невелико «субстанциально ценное» содержание, он неверно интерпретирует Маркса, Дюркгейма и Вебера, практически игнорирует Зиммеля.

Мештрович указывает на то обстоятельство, что теорию Гидденса нельзя использовать в эмпирических исследованиях. Приводимые им аргументы носят скорее риторический, чем строго доказательный характер, и не всегда согласуются друг с другом. К примеру, тезисы о глобализации противоречат утверждениям о жизнеспособности национального государства, а рассуждения об эмансипации человека не соответствуют приверженности идее социального порядка.

Предметом веры, а не фактом является блаженная убежденность Гидденса в том, что люди – социальные агенты, а не культурные манекены, ведь люди не могут быть агентами в гидденсовском смысле все время, более того, многие в силу ряда социальных, психологических и иных причин демонстрируют очевидные признаки «не-агентности».

Мештровичу кажутся более приемлемыми воззрения Бодрийяра, который изображает новую форму рабства, базирующуюся на сконструированной человеком гиперреальности, которая лишает его возможности наделить свою жизнь смыслом. В отличие от марксистов и представителей критической теории, надеявшихся на то, что просвещенный разум поможет преодолеть новую форму реификации социальной жизни, Бодрийяр не говорит ничего утешительного. Он – теоретик новой формы рабства, а также антимодернист, и его теория является прямой противоположностью теории эмансипации Гидденса.

По мнению автора, следует рассматривать традиционализм, модерн и постмодерн как сосуществующие реальности. Модерн – это не колесница (как считает Гидденс), которую нельзя остановить. Модерну оказывают сопротивление традиционализм, а также его постмодернистские результаты. Понятие модерна само по себе не способно объяснить устойчивое сохранение многих привычек, эмоций, вообще «движений сердца», чувства сострадания и милосердия. Понятие «постмодерн» не указывает на что-либо конкретное.

Для обозначения и характеристики смеси традиционализма, модерна и постмодерна Мештрович предлагает термин «постэмоциональный», «постэмоционализм». «Постэмоционализм показывает, как все человечество в конце двадцатого столетия отвращает свою эмоциональную энергию от агентности, ориентированной на будущее, и обращает на ту или иную ностальгическую форму рабства, укорененную в прошлом» (с. 220). Аятолла Хомейни стремился вернуть Иран в седьмое столетие, а сербы в 1990-е годы сфокусировали свою эмоциональную энергию на событиях 1389 г. Популярная культура рециклирует культурные достижения предыдущих поколений. Диснейленд означает попытку вернуть волшебство идеализированного детства и т.п.

Модернистская теория Гидденса не воспринимает всерьез эмоции, культуру, привычки. Но ведь эти явления вовсе не исчезли из того мира, который он характеризует как высокий или радикальный модерн. Достаточно взглянуть на феномен национализма.

Неизвестно, как долго сохранятся модернистские установки социологического мышления, столь дорогие Гидденсу и очень многим представителям академической социологии. В какой-то момент наследие

Просвещения может исчерпать себя. Конечно, можно, как Гидденс, надеяться на перспективу создания его подобия, изобретения каких-то новых сообществ и традиций. Но это опасное дело. Нынешнее состояние общественной морали не позволяет быть уверенным, что социальные инженеры не создадут новый тоталитаризм.

Ю.А.Кимелев

ПЕРЕВОДЫ

Гарольд Гарфинкель

Исследование привычных оснований повседневных действий

Постановка проблемы

Если у Канта нравственный закон «внутри нас» вызывал мистическое благоговение, то для социологии нравственный закон «вне нас» является технической задачей. С точки зрения социологической теории, нравственный закон воплощен в упорядоченных по некоторым правилам действиях повседневной жизни. Члены общества сталкиваются с ним и знают о нем как об обычном, по их ощущению, ходе действий: в знакомых картинах ежедневных дел, в мире повседневной жизни, который знаком им, как и всем остальным, и воспринимается как нечто само собою разумеющееся.

Люди называют этот мир «естественные события жизни», которые для их участников сплошь и рядом являются и моральными фактами. Для членов общества привычные дела не просто обходят вполне определенным образом, но обходят они всегда либо правильно, либо неправильно. Знакомые картины повседневных занятий, к которым участники относятся как к «естественным событиям жизни», – это многочисленные факты их повседневного существования, представляющие собой одновременно и сам реальный мир, и продукт деятельности людей в этом мире. Эти картины обеспечивают возможность «фиксации», узнавания («вот оно!»), к ним человека всякий раз возвращает пробуждение, они являются и отправными точками, и точками возврата для любого преобразования мира повседневной жизни, осуществляемого в игре, мечтах, экстазе, театральном перевоплощении, научном теоретизировании или торжественных ритуалах.

Знакомый мир здравого смысла, мир повседневной жизни является предметом непреходящего интереса для любой дисциплины – и гуманитарной, и естественнонаучной. В общественных же науках и, в особенности, в социологии он, по сути, составляет основной предмет изучения. Он определяет саму проблематику социологии, входит в самую природу социологического отношения к действительности и странным образом охраняет свой суверенитет от претензий социологов на адекватное его объяснение.

Однако несмотря на центральное положение этой темы в социологии, существующая обширная литература приводит мало данных и почти совсем не содержит методов, которые позволили бы выявить сущностные черты социально признанных «знакомых картин» и соотнести их с параметрами социальной организации. Хотя социологи и принимают социально структурированные сцены повседневной жизни в качестве отправных точек своих исследований, они все же редко

* *Garold Garfinkel*. Studies in Ethnomethodology. Prentice Hall Inc., New Jersey, 1967. Chapter 2. Studies of the routine grounds of everyday activities. P. 35–75.

© Перевод с английского Турчаниновой Ю.И., Гусинского Э.Н.

© Центр Фундаментальной Социологии, 2002 г.

замечают¹, что сама возможность существования мира здравого смысла является для социолога исследовательской проблемой. Такая возможность либо постулируется теоретически, либо считается само собой разумеющейся. Хотя определение мира повседневной жизни, каким он представляется здравому смыслу, безусловно входит в социологическую проблематику и как самостоятельная задача, и как методологическое основание социологических исследований, до сих пор эта проблема не изучалась. В данной статье я намерен показать, что изучение действий, основанных на здравом смысле, безусловно имеет важное значение для социологии, и, рассказав о ряде наших исследований, хотел бы стимулировать обращение к этой проблематике.

Как сделать обыденные сцены заметными

При анализе устойчивых характеристик повседневных занятий социологи обычно выбирают знакомые испытуемым обстоятельства, такие, как домашняя обстановка или рабочее место, и ищут переменные, обеспечивающие устойчивость этих характеристик. И столь же обычно они не рассматривают некий определенный аспект этих обстоятельств: социально стандартизированные и стандартизирующие, «видимые, но не замечаемые», ожидаемые, фоновые черты повседневных событий. А члены общества как раз эти фоновые ожидания и используют в качестве схемы интерпретации реальности, благодаря чему совершающиеся здесь и теперь события становятся для них узнаваемыми и доступными пониманию как «проявления-знакомых-событий». Тот факт, что каждый человек ощущает этот фон, вполне очевиден, и в то же время всякий испытывает большие затруднения, если его попросят рассказать точно, в чем эти ожидания состоят. Когда человека спрашивают об этом, он может рассказать очень немного или не может рассказать вообще ничего.

Чтобы эти фоновые ожидания вышли на первый план, надо либо на самом деле быть сторонним наблюдателем по отношению к «обычной жизни», либо суметь каким-то образом отстраниться от нее. Как указывал Альфред Шюц, чтобы рассмотреть сами эти ожидания в качестве проблемы, необходим «особый мотив». У социологов такой мотив есть, он заключается в создании программы рассмотрения обыденных жизненных обстоятельств членов общества как предмета теоретического интереса, а эти обстоятельства, с точки зрения членов общества, с необходимостью включают и нравственный аспект многих своих фоновых характеристик. В результате видимый, но обычно не замечаемый фон повседневных действий выявляется и описывается с точки зрения той жизни, которой они на самом деле живут: имеют таких детей, каких имеют, испытывают какие-то чувства и над чем-то размышляют, вступают в такие отношения, в которые в действительности вступают, специально для того, чтобы дать социологу возможность решить его теоретические проблемы.

Практически единственный из социологов-теоретиков, Альфред Шюц в своих поздних работах из серии классических исследований² по конститутивной феноменологии мира повседневной жизни, описал многие из этих видимых, но не замечаемых фоновых ожиданий. Он называл их «установками повседневной жизни» и говорил об их видимых проявлениях как о «мире, известном сообществу и принимаемом как само собой разумеющееся». Фундаментальная работа Шюца делает возможной постановку и решение дальнейших задач прояснения природы и действия фоновых

¹ Работа Альфреда Шюца, цитируемая в сноске 2, составляет замечательное исключение. Читатели, знакомые с его работами, увидят, сколь многим ему обязана эта статья.

² Schutz, *Der Sinnhafte Aufbau Der Sozialen Welt* (Verein: Verlag von Julius Springer, 1932); *Collected Papers I: The Problem of Social Reality*, ed. Maurice Natanson (The Hague: Martinus Nijhoff, 1962); *Collected Papers II: Studies in Social Theory*, ed. Arvid Broderson (The Hague: Martinus Nijhoff, 1964); *Collected Papers III: Studies in Phenomenological Philosophy*, ed. I. Schutz (The Hague: Martinus Nijhoff, 1966)

ожиданий, соотнесения их с процессами согласования действий и определения их места в любом мыслимом обществе.

В исследованиях, о которых рассказывается в этой статье, делается попытка выявить некоторые из тех ожиданий, которые сообщают обыденным житейским картинам их знакомый, привычный характер, и соотнести эти ожидания с устойчивыми социальными структурами повседневных занятий. Что касается порядка изложения, то я предпочитаю начать со знакомых сцен и вопроса о том, что можно сделать, чтобы нарушить привычный ход вещей. Кое-что о том, как складываются и привычно воспроизводятся структуры повседневных действий,³ могли бы прояснить те действия, которые пришлось бы предпринять, чтобы внести в привычное взаимодействие недоумение, напряжение и путаницу, усилить бессмысленность происходящего, вызвать социально обусловленные переживания беспокойства, стыда, вины, негодования и тем самым дезорганизовать привычное взаимодействие.

Небольшое отступление. Несмотря на подчеркнутое внимание к процедурам, мои исследования, строго говоря, не являются экспериментальными. Это – демонстрации, предназначенные, как говорил Герберт Шпигельберг, «служить подспорьем вялому воображению». Я полагаю, что они наводят на размышления, позволяющие выявить «странность» столь знакомого нам мира.

Некоторые существенные особенности общих пониманий

Самые разные соображения указывают на то, что общность понимания едва ли можно измерить объемом взаимного согласия людей по конкретным вопросам. Даже если бы число и разнообразие этих вопросов были ограничены, а практические трудности измерения преодолимы, представление о том, что мы имеем дело с некоторым объемом взаимного согласия, остается неправильным по сути. Это можно показать следующим образом.

Студентов попросили сделать сообщения о самых обычных разговорах, записывая на левой стороне листа то, что участники этих разговоров действительно произносили, а на правой стороне – то, что они и их партнеры под этим подразумевали, то есть о чем на самом деле шла речь. Один из студентов сообщил о следующем разговоре между ним и его женой.

Муж	Дана сегодня сумел просунуть пенни в парковочный счетчик, причем я его не поднимал.	Сегодня днем, когда я вез Дану, нашего четырехлетнего сына, из детского сада домой, он сумел дотянуться достаточно высоко, чтобы опустить пенни в парковочный счетчик, когда мы припарковались в парковочной зоне с повременной оплатой, а раньше мне всегда приходилось его поднимать, чтобы он мог дотянуться так высоко.
Жена	Ты что, брал его с собой покупать пластинки?	Раз он опустил пенс в счетчик, значит, ты останавливался, когда он уже был с тобой. Я знаю, что ты останавливался у музыкального магазина либо, когда ехал за ним, либо на обратном пути. Было ли это на обратном пути, и поэтому он был с тобой, или ты останавливался там, когда еще только ехал за ним, а потом на обратном пути останавливался где-то еще?
Муж	Нет, в	Нет, я останавливался у магазина, где продают

³ И напротив, знание о том, как структуры повседневных действий рутинно воспроизводятся, должно позволить нам ответить на вопрос, как мы могли бы эффективно осуществить желаемые беспорядки.

	обувную мастерскую.	пластинки, по дороге за ним, а на обратном пути, когда он уже был со мной, заезжал в обувную мастерскую.
Жена	Зачем?	Одна причина для заезда в обувную мастерскую мне известна, а на самом деле зачем ты туда заходил?
Муж	Я купил себе новые шнурки для ботинок.	Как ты помнишь, я на днях порвал шнурок на одном из моих коричневых оксфордов, так что я зашел туда купить несколько новых шнурков.
Жена	Нужно срочно поставить набойки на твои мокасины.	Ты мог бы сделать там и еще кое-что, я подумала, что ты мог бы занести туда свои черные мокасины, на которые очень нужно поставить набойки. Тебе бы надо сделать это поскорее.

Анализ этой беседы показывает следующее. (а) Партнеры понимают, о чем идет речь, хотя разговор касается ряда вещей, которые прямо не упоминаются; (б) многое из того, что партнеры понимают, понято ими не только на основе того, что реально сказано, но и того, что осталось несказанным; (в) многое понято благодаря тому, что партнеры в живом разговоре следят за последовательностью высказываний во времени, воспринимая эти высказывания скорее как подтверждение развития разговора, чем как некую связную совокупность слов; (г) то содержание, которое оба собеседника поняли одинаково, было понято только благодаря специальной работе понимания, в процессе которой они обращаются с совершающимися речевыми событиями как с некоторыми «документами», «указателями», выступающими от имени некой подразумеваемой совокупности тем обсуждения, относительно которой каждый из собеседников заранее предположил, что другой, произнося что-то, будет говорить именно об этих предметах. При этом дело не только в том, что подразумеваемая совокупность тем выводилась из последовательности отдельных «документальных» свидетельств, но и сами эти документальные свидетельства, в свою очередь, интерпретировались на основе того, что «уже известно» или в принципе могло быть известно в отношении подразумеваемой совокупности тем⁴. Таким образом, документальные свидетельства и совокупности подразумеваемых тем обсуждения были использованы для взаимного уточнения; (д) следя за высказываниями как за событиями-в-разговоре, каждый из говорящих имел в виду как предысторию данного взаимодействия, так и возможные последующие события, используя это взаимодействие как общую схему интерпретации высказываний собеседника и выражения своих мыслей и приписывая точно такой же характер действий своему партнеру; (е) чтобы понять то, о чем говорилось прежде, каждый из говорящих ждал, чтобы было сказано что-нибудь еще, и каждый, похоже, был готов ждать.

Общность представлений могла бы измеряться объемом взаимного согласия, если бы эти представления складывались из событий, последовательность которых соответствовала бы смене положений стрелок часов, то есть из событий, протекающих в реальном времени. Приведенные же результаты, полученные при рассмотрении обмена репликами как «событиями-в-разговоре», указывают на необходимость по крайней мере еще одного временного параметра: особой роли времени, которая заключается в том, что оно делает предмет разговора («то, о чем говорят») событием, разворачивающимся и развернутым в процессе создававших его действий; той роли

⁴ Карл Маннгейм в своем эссе «On the Interpretation of 'Weltanschauung'» (in *Essays on the Sociology of Knowledge*), trans. and ed. Paul Kecskemeti [New York.: Oxford University Press, 1952], pp. 33–83) говорит об этой работе как о «документальном методе интерпретации». Его черты подробно описаны в главе 3.

времени, которая позволяет и процесс, и его результат воспринимать каждым участником *изнутри* этого развертывания, причем каждый воспринимает их как со своей стороны, так и от имени другого.

Приведенная беседа обнаруживает и ряд других особенностей. (1) Многие из высказываний таковы, что воспринимающий не может определить их смысл, если он не знает или не предполагает что-то по поводу биографии и целей говорящего, обстоятельств произнесения, предшествующего хода разговора или существующих конкретных отношений в актуальном или потенциальном взаимодействиях между говорящим и слушающим. Эти высказывания не имеют смысла, который оставался бы постоянным при сменяющихся случаях их использования. (2) События, о которых шел разговор, были особенно неопределенными. Они не только не очерчивают четко ограниченный набор возможных обусловленностей, но сами описываемые события включают в качестве своих изначально предполагаемых и неотъемлемых черт некую «кайму» сопутствующих обусловленностей, открытых относительно внутренних взаимоотношений, отношений к другим событиям или отношений к прошлым и будущим возможностям. (3) Чтобы отдельное высказывание было осмысленно, после его предъявления каждый из собеседников, находясь в роли слушателя как своей, так и чужой речевой продукции, в каждый данный момент разговора должен был полагать, что реальное значение того, что уже сказано, может проясниться, если подождать, что он сам или его собеседник скажут позднее. Таким образом, многие высказывания обладали тем свойством, что собеседники понимали их и могли понять лишь в дальнейшем ходе разговора. (4) Едва ли надо специально отмечать, что смысл высказывания зависел от его места в последовательности высказываний, от выразительного характера слов, его составлявших, и от значения описываемых событий для собеседников.

Эти свойства общих представлений отличаются от тех свойств, которые они имели бы, если пренебречь их временным характером, а вместо этого обращаться с ними, как с совокупностью записей на ленте памяти. С такой записью можно было бы сверяться как с определенным набором альтернативных значений, из которых надо выбирать при данных условиях, уточняющих, каким из некоторого набора альтернативных способов следует понимать ситуацию в случае, когда возникает необходимость принятия такого решения. Последние свойства – это свойства строгого рационального дискурса, как они идеализированы в правилах, определяющих адекватное логическое доказательство.

Ведя свои повседневные дела, люди никогда не позволяют друг другу таким способом понимать, «о чем они в действительности разговаривают». Допустимыми свойствами обыденного дискурса являются: ожидание, что люди сами *поймут*, что имеется в виду; случайность выбора выражений; характерная неопределенность ссылок; ретроспективное/перспективное ощущение событий настоящего; ожидание продолжения разговора, чтобы понять, что, собственно, имелось в виду раньше. Эти свойства составляют фон видимых, но не замечаемых черт обыденного дискурса, тогда как предъявляемые высказывания опознаются как события обычного, разумного, понимаемого, ясного разговора. Людям нужны эти качества дискурса как условия, при которых они берут себе и дают другим право утверждать, что они знают, о чем говорят, а то, что они говорят, доступно пониманию и должно быть понято. Коротко говоря, видимое, но не замечаемое присутствие этих правил используется, чтобы дать людям возможность, не прерываясь, вести общий разговор. Любые отклонения от такого их использования вызывают немедленные попытки восстановить правильное положение дел.

Санкционированный характер этих свойств можно показать следующим образом. Студенты получили задание вовлечь кого-нибудь из своих знакомых или друзей в обычный разговор и, никак не показывая ему, что экспериментатор просит о чем-то необычном, настаивать, чтобы этот человек прояснял смысл своих обычных высказываний. 23 студента представили 25 отчетов о таких разговорах. Ниже приведены типичные выдержки из отчетов.

Случай 1.

Испытуемая рассказывает экспериментатору – члену ее автомобильного пула* – о том, что, когда она накануне ехала на работу, у нее спустило колесо.

(И) У меня спустило колесо.

(Э) Что ты имеешь в виду, говоря, что у тебя спустило колесо?

Она прямо остолбенела. Потом ответила довольно враждебно: «Что значит – что я имею в виду? Спустило колесо – это значит “спустило колесо”, вот что я имела в виду, ничего такого особенного, что за дурацкий вопрос?!»

Случай 2.

(И) Привет, Рэй! Как твоя подружка?

(Э) Что ты имеешь в виду, спрашивая «как она?» Умственно или физически?

(И) Я имею в виду – как она себя чувствует, да что это с тобой? (Он выглядит раздраженным.)

(Э) Ничего. Просто объясни попонятнее, что ты имеешь в виду.

(И) Ладно, оставим это. Как продвигаются твои дела с медицинской школой?

(Э) Что ты, собственно, имеешь в виду?

(И) Ты знаешь, что я имею в виду.

(Э) Нет, не знаю.

(И) Да что с тобой случилось? Ты не заболел?

Случай 3.

В пятницу вечером мы с мужем смотрели телевизор. Муж сказал, что он устал. Я спросила: «Как ты устал? Физически, умственно или тебе просто скучно?»

(И) Не знаю, думаю, что в основном физически.

(Э) Ты имеешь в виду, что у тебя болят мышцы или кости?

(И) Да, наверное. Не будь такой въедливой. (Посмотрев еще немного телевизор, он говорит:)

(И) Во всех этих старых фильмах одна и та же старая железная кровать.

(Э) Что ты имеешь в виду? Ты имеешь в виду все старые фильмы, только некоторые из них или только те, которые ты сам смотрел?

(И) Да что с тобой стряслось? Ты же знаешь, что я имею в виду.

(Э) Я хотела бы, чтобы ты уточнил.

(И) Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Тьфу, пропасть!

Случай 4.

Во время разговора со своей невестой экспериментатор задавал вопросы о значении различных слов, которые она использовала.

Первые минуты полторы испытуемая отвечала на вопросы, как будто эти вопросы были вполне закономерными. Потом она спросила «Зачем ты задаешь мне такие вопросы?» и повторяла его еще дважды или трижды после следующих вопросов. Она занервничала и перепугалась. Ее лицо и руки задргались. Она запуталась,

* Пул – объединение людей для совместного использования автомобиля – *Прим. перев.*

пожаловалась, что я заставляю ее нервничать, и потребовала, чтобы я прекратил это... Затем она взяла журнал и закрылась им от меня. Потом положила журнал и сделала вид, что поглощена им. Когда я спросил, почему она смотрит в журнал, она поджала губу и отказалась от дальнейшего разговора.

Случай 5.

Мой друг сказал мне: «Поторопись, а то мы опоздаем». Я спросил его, что он имеет в виду, говоря «опоздаем», и с какой точки зрения это имеет смысл. Его лицо приобрело цинично-недоуменное выражение: «Почему ты задаешь мне такие дурацкие вопросы? Я вовсе не должен объяснять такие выражения. Что с тобой сегодня? – Я спросил: «Почему я должен прекратить анализировать такого рода утверждения?» Всем понятно, что я говорю, и ты не должен быть исключением.

Случай 6.

Жертва приветливо помахала рукой.

(И) Ты как?

(Э) В каком отношении я как? В отношении здоровья, денег, учебы, расположения духа...?

(И) (покраснев и внезапно выходя из себя): Послушай, я просто хотел быть вежливым, откровенно говоря, мне совершенно наплевать, как ты!

Случай 7.

Мой друг и я разговаривали о человеке, чье высокомерие нас раздражало. Мой друг выразил свои чувства.

(И) Меня от него тошнит.

(Э) Не объяснишь ли ты, что с тобой случилось такое, что тебя тошнит?

(И) Ты смеешься надо мной? Ты знаешь, что я имею в виду.

(Э) Пожалуйста, объясни свое нездоровье.

(И) (он слушал меня озадаченно) Что на тебя нашло? Мы ведь никогда так с тобой не разговариваем.

Фоновые понимания и «адекватное» опознание обыденных событий

Какого рода ожидания составляют «видимый, но не замечаемый» фон взаимопонимания и как они связаны с опознанием людьми устоявшихся способов межличностных взаимодействий? Некоторую информацию об этом можно получить, если задаться вопросом, как человек будет воспринимать обычную, знакомую сцену и что он в ней увидит, если попросить его смотреть на нее как на нечто такое, в чем для него нет ничего очевидного.

Студентам выпускного курса было дано задание провести у себя дома от пятнадцати минут до часа, глядя на происходящее так, как если бы они были в этом доме постояльцами. Они также получили инструкцию не признаваться, что имеют такое задание. О своем опыте сообщили тридцать три студента.

В своих письменных отчетах студенты «бихевиоризировали»* домашние сцены – вот выдержка из одного такого отчета, чтобы проиллюстрировать, что, собственно, имеется в виду.

«Невысокий плотный мужчина вошел в дом, поцеловал меня в щеку и спросил:

* Постулатом бихевиоризма является строгая установка на чисто внешнее, объективное описание поведения, которое никоим образом не должно затрагивать считающийся сугубо гипотетическим внутренний мир испытуемого – *Прим. перев.*

“Как дела в школе?” Я вежливо ответил. Он прошел в кухню, младшую из двух женщин поцеловал, а другой сказал: “Привет”. Женщина помоложе спросила меня: “Что ты хочешь съесть на ужин, солнышко?” Я ответил – ничего. Она пожала плечами и ничего не сказала. Женщина постарше шаркала ногами по кухне, что-то бормоча. Мужчина вымыл руки, сел за стол и взял газету. Он читал, пока женщины не закончили накрывать на стол. Все трое сели к столу. Они обменивались незначущими замечаниями по поводу событий дня. Старшая из женщин сказала на иностранном языке что-то такое, что рассмешило остальных.»

Люди, отношения и действия описывались без связи с их историей, с местом данной сцены в череде развивающихся жизненных обстоятельств, всей этой ткани событий, значимых для их участников. Исключались упоминания о мотивах, уместности тех или иных поступков, о субъективных переживаниях, а также о социально стандартизованном (нормальном) характере событий. Описания производили такое впечатление, как будто их составлял наблюдатель, подсматривавший в замочную скважину и специально опускавший большую часть того, что ему, как и испытуемым, известно о сценах, которые он видит, – так писатель мог бы описывать сцены из жизни, если бы слегка подзабыл то, что ему по здравому смыслу известно о простых социальных структурах.

Глядя со стороны, студенты с удивлением обнаружили те особенности, которые придавали обращению участников друг с другом сугубо личный характер. Дела кого-то одного касались и других, если кого-то порицали, он не мог сохранить достоинство, а другие не допускали мысли, что он может обидеться. Одну из студенток удивило то, что она имеет такой свободный доступ ко всему в доме. Люди вели себя и проявляли свои чувства, не заботясь о том, какое впечатление они производят. Манеры поведения за столом были скверными, и члены семьи не проявляли особой предупредительности друг к другу. Первой «жертвой» такого стороннего взгляда стало обсуждение семейных событий дня, которое превратилось в совершенно пустой разговор.

Студенты сообщали, что им было трудно придерживаться заданного способа наблюдения. Знакомые объекты – в первую очередь, конечно, люди, но также и мебель, и вся обстановка комнат – сопротивлялись стараниям студентов думать о них, как о незнакомых. Многие студенты с неудовольствием замечали, что осознают, каким именно образом совершаются привычные движения: *как*, например, человек управляется со столовым прибором, *как* он открывает дверь или приветствует другого члена семьи. Многие сообщали, что это наблюдение было трудно продолжать из-за того, что становились заметными раздоры, пререкания и недружелюбное отношение друг к другу, и это огорчало. Часто, описывая впервые замеченные проблемы, студент отмечал, что этот его отчет о семейных проблемах не дает истинной картины, что *на самом деле* его семья – очень счастливая. Были студенты, которые почувствовали себя «отчасти конформистами» и были несколько подавлены этим. Некоторые студенты попытались определить свое «Я-реальное» через поступки, управляемые определенными правилами поведения, но оставили эту задачу как безнадежную. Они сочли более убедительным думать, что их «Я-в-обычных-обстоятельствах» и есть «Я-настоящее». Тем не менее один из студентов был поражен тем, насколько точно и успешно он мог предвидеть реакции других на его действия. Это чувство не вызвало у него беспокойства.

Многие отчеты содержали вариации на тему: «Я был рад, когда этот час истек, и я мог снова стать самим собой».

Студенты были убеждены, что картина, наблюдаемая с позиции постояльца, – это не подлинная их домашняя среда. Позиция постояльца порождала картины, которые они отбрасывали как забавные, но не соответствующие истине, не имеющие

практического значения и дезориентирующие. Как же были изменены их привычные способы видения домашнего окружения? Чем отличался их способ наблюдения от обычного?

Из их отчетов можно выделить несколько отличий такого способа наблюдения от «обычного» и «требуемого». 1) Рассматривая свой дом глазами постояльца, они заменяли общепризнаваемый контекст событий неким правилом интерпретации, которое требовало, чтобы этот контекст *временно* не учитывался. 2) С этой новой позиции сам общепризнаваемый контекст становился предметом рассмотрения с целью определения его существенных структур. 3) Для этого наблюдатель вступал во взаимодействие с другими с позиции, суть и цель которой знал только он сам; которая не раскрывалась для других, но могла быть принята или отброшена самим наблюдателем, когда он этого захочет; она была предметом его собственного выбора. 4) Такая преднамеренная позиция удерживалась подчинением единственному и четкому правилу, 5) которое, как это бывает в игре, как раз и предписывало смотреть на все вокруг, руководствуясь только этим правилом. 6) Наконец, такой способ наблюдения исключал необходимость согласования поведения наблюдателя с действиями других. Все эти аспекты студенты сочли весьма странными.

Когда студенты попробовали использовать эти фоновые ожидания не только для наблюдения за семейными сценами, но и как основание своего участия в них, эти сцены просто разрушались, поскольку другие члены семьи не понимали, что происходит, и начинали сердиться.

В следующем эксперименте студентов попросили провести у себя дома от пятнадцати минут до часа, не только воображая себя постояльцами, но и действуя, исходя из этого предположения. Инструкция предписывала им вести себя осмотрительно и вежливо. Они должны были избегать личных выпадов, пользоваться формальными обращениями, говорить только тогда, когда к ним обратятся.

В девяти из сорока девяти случаев студенты либо отказались выполнять задание (пять случаев), либо попытка выполнить его оказалась неуспешной (четыре случая). Четверо из отказавшихся студентов заявили, что побоялись его выполнять, а пятая объяснила, что предпочла не рисковать и не беспокоить мать, у которой больное сердце. В двух из «неуспешных» случаев семья с самого начала отнеслась к поведению студента, как к шутке, отвергла ее, и не изменила своей позиции, несмотря на все попытки студента продолжить выполнение задания. Третья семья решила, что за этим что-то кроется, но их не заинтересовало, что бы это могло быть. В четвертой семье отец и мать отметили, что дочь что-то «чересчур мила» и, значит, ей, несомненно, что-то нужно, а что именно, скоро выяснится.

В остальных сорока случаях члены семьи были озадачены. Они явно старались как-то понять странное поведение одного из них и вернуть ситуацию в нормальное русло. Отчеты студентов полны упоминаниями о потрясении, замешательстве, шоке, беспокойстве, раздражении и гневе, а также о самых разных обвинениях, услышанных ими от членов своей семьи – в нечестности, отсутствии сочувствия, эгоизме, невежливости и т.п. Члены семьи требовали объяснений: В чем дело? Что на тебя нашло? Тебя что, выгнали? Ты не заболел? Что это ты так развоображался? Почему ты злишься? Ты что, спятил или просто дурак? Один из студентов ужасно разозлил свою мать, спросив в присутствии ее друзей, не будет ли она возражать, если он возьмет что-нибудь в холодильнике перекусить. «Не буду ли я возражать? Ты тут годами перекусывал, не спрашивая у меня разрешения. Что на тебя нашло?» Одна из матерей, разъяренная тем, что дочь говорила с ней только тогда, когда к ней обращались, разразилась злыми обвинениями в ее адрес за неуважительное и непочтительное поведение и отвергла все попытки сестры студентки успокоить ее. Отец отругал дочь за

недостаточную заботу о благополучии других и за то, что она ведет себя, как испорченный ребенок.

В ряде случаев члены семьи поначалу приняли действия студента как призыв к совместному развлечению, но вскоре это отношение сменилось раздражением и неприкрытой злостью на студента за то, что он не знает, когда уже пора остановиться. Члены семей насмеялись над «вежливостью» студентов – «конечно, мистер Герцберг!» – или обвиняли студента в том, что он ведет себя так, как будто он умнее других, в общем, саркастически осмеивали эту «вежливость».

Они пытались найти какое-то доступное пониманию объяснение мотивам студента в предшествующих событиях: он перезанимался; заболел; произошла очередная ссора с невестой (женихом). Когда объяснения, предлагавшиеся членами семьи, не получали подтверждения, обиженный член семьи уходил, нарушителя изолировали, его ждали возмездие и осуждение. «Не спорь с ним, он опять в своем духе»; «Не обращай внимания, просто подожди, пока он попросит меня о чем-нибудь»; «Раз ты со мной так, то и я с тобой буду так, и тогда посмотрим...»; «Ну почему ты всегда должен создавать трения в семье?» Во многих отчетах упоминаются различные варианты продолжения конфронтации. Отец отправляется за сыном в его спальню. «Мать права. Ты скверно выглядишь и говоришь глупости. Тебе бы надо поискать другую работу, которая не требовала бы от тебя таких поздних занятий». На это студент ответил, что он ценит сочувствие, но чувствует себя прекрасно и просто хочет немного уединения. Отец ответил в повышенном тоне: «Я больше не желаю *этого от тебя* слышать, и если ты не можешь обращаться с матерью по-человечески, лучше тебе съехать».

Не было случая, чтобы после объяснений студента ситуация не выправилась, тем не менее, большинство семей это происшествие отнюдь не развлекло, мало кто нашел в этом опыте что-нибудь поучительное, хотя студенты и объясняли, что такая поучительность предполагалась. Выслушав объяснения, сестра одного из студентов холодно ответила от имени остальных четверых членов семьи: «Пожалуйста, не надо больше никаких экспериментов. Мы, знаешь ли, не крысы». В некоторых случаях объяснение было принято, но только добавило обиды. В ряде случаев студенты сообщали, что объяснение оставило либо их самих, либо семью, а нередко и тех, и других, в сомнении относительно того, что из сказанного студентом он действительно имел в виду, а что говорил, так сказать, по роли.

Студенты нашли это задание трудным, но в своих отчетах, в отличие от отчетов чистых наблюдателей, они часто отмечали: основная трудность состояла в том, что их, так сказать, партнеры обращались с ними без учета роли, которую студенты пытались играть, а, кроме того, сталкиваясь с разными ситуациями, они не знали, как реагировал бы в подобных обстоятельствах настоящий постоялец.

Были получены и некоторые совершенно неожиданные данные. 1) Хотя многие студенты сообщали о многократном проигрывании предстоявших сцен в воображении, мало кто упоминал о страхах или тревогах, испытанных перед экспериментом. 2) В то же время, хотя довольно часто случались непредвиденные и трудные ситуации, лишь один студент написал, что искренне сожалеет о происшедшем. 3) Очень немногие студенты сообщали, что испытали глубокое облегчение, когда этот час истек, гораздо чаще говорилось всего лишь о некотором частичном облегчении. Студенты часто писали, что тоже сердились в ответ на злость других и легко соскальзывали в привычные чувства и действия.

В отличие от постояльцев-наблюдателей в этих ситуациях лишь очень немногие студенты «бихевиоризировали» сцены.

Фоновые понимания и социальные аффекты

Несмотря на огромный интерес к социальным аффектам в общественных науках и то серьезное внимание, которое проявляет к ним клиническая психиатрия, до сих пор написано на удивление мало о социально структурированных условиях их возникновения. Роль, которую фон общих пониманий играет в их возникновении, опознании их и управлении ими, остается практически *terra incognita*. Такой недостаток внимания со стороны прикладных исследователей тем более примечателен, что именно этим озабочены люди, желающие по своему здравому смыслу вести повседневные дела таким образом, чтобы вызывать энтузиазм и дружелюбие, а переживаний беспокойства, вины, стыда или скуки избегать. Связь социальных аффектов с общим пониманием можно показать, рассматривая процедуру со студентами–постояльцами как средство провокации замешательства и злости: «постоялец» относится к важным для всех «очевидным», «нормальным» и «реальным» обстоятельствам так, как будто для него это вовсе не так.

Существование определенной и сильной связи между общим пониманием и социальными аффектами можно продемонстрировать (и одновременно выявить некоторые черты этой связи) посредством явного проявления недоверия – процедуры, дающей, на наш взгляд, достаточно стандартизованный эффект. Мы исходили из следующего.

Одно из фоновых ожиданий, описанное Шюцем, касается санкционированного использования сомнения как составляющей мира, понимаемого сообща. Шюц полагал, что *при осуществлении своих повседневных дел* человек принимает допущение о том, что нормальное отношение между каким-то мыслимым объектом и его данными конкретными предьявлениями в данных обстоятельствах есть отношение несомненного соответствия. При этом он полагает также, что другой человек принимает те же допущения как в отношении объекта и его предьявлений, так и в отношении него самого, т.е. ждет от него таких же допущений. Для человека, ведущего свои повседневные дела, объекты именно таковы, какими они представляются, и он ожидает, что и другие думают так же. Для того, чтобы это отношение рассматривалось по *правилу* сомнения, требуется обосновать необходимость и мотивы использования этого правила.

Мы ожидали, что различия в явном проявлении правила сомнения (недоверия)⁵ в том, что другой человек относится к принятому контексту взаимных ожиданий действительно так, как он это проявляет, должно вызвать различные переживания у того, кто сомневается, и у того, в ком сомневаются. Человек, которому не доверяют, должен требовать объяснений, и, если они не предоставляются (поскольку «любому ясно», что их и не может быть), должен испытывать гнев. Что касается экспериментатора, тут мы ожидали замешательства, поскольку он оказывается в весьма противоречивом положении: под пристальным взглядом жертвы он предстает ничтожеством, которым его выставляет недоверие к тому, что всякому ясно, и

⁵ Понятия доверия и недоверия разработаны в моей статье «A Conception of and Experiments with 'Trust' as a Condition of Stable Concerted Actions» in *Motivation and Social Interaction*, ed. O. J. Harvey (New York: The Ronald Press Company, 1963, pp. 187-238). Термин «доверие» используется там для описания подчинения человека ожиданиям установки повседневной жизни как морали. Действие в соответствии с правилом сомнения, направленного на соответствие между проявлениями объектов и самими объектами (проявление – это проявление чего-то), – это лишь один из способов уточнения понятия «недоверие». Модификации взаимных ожиданий, которые формируют отношение повседневной жизни, равно как и их разнообразных совокупностей, предоставляют вариации центральной темы рассмотрения мира, который человек обязан знать совместно с другими и принимать как должное с точки зрения его проблематичности. См. примечание об обсуждении Шюцем обыденного отношения в сноске 2. Конституирующие это отношение ожидания кратко перечислены на страницах 55–56.

одновременно он является тем компетентным человеком, которым он себя совместно с другими знает в глубине души, но каковым по требованиям процедуры не может предстать.

Как часы Сантаяны, наше предположение не оказалось ни правильным, ни неправильным. Хотя процедура и дала то, чего мы ожидали, она предоставила и нам, и экспериментаторам гораздо больше материала, чем мы ожидали.

Студенты получили инструкцию вовлечь кого-либо в разговор и вообразить (а затем и действовать, исходя из этого), что за словами этого человека кроются некие скрытые мотивы, которыми он и руководствуется. Они должны были считать, что другой человек пытается их обмануть или дезориентировать.

Только в двух случаях из тридцати пяти студенты попробовали выполнить это задание с посторонними людьми. Остальные, опасаясь, что такая ситуация может выйти из-под контроля, выбрали для выполнения задания друзей, соседей по общежитию или членов семьи. И даже при этих условиях они сообщали о значительном числе репетиций в воображении, серьезных раздумьях о возможных последствиях и тщательном отборе нужного человека из числа многих.

Установку недоверия было трудно как принять, так и удерживать. Студенты сообщали об остром ощущении участия в «какой-то искусственно сконструированной игре», об ощущении неспособности «вжиться в роль» и о том, что часто они «совершенно не знали, что делать дальше». Слушая собеседника, экспериментаторы забывали о задании. Одна из студенток сказала то, что могли бы повторить и другие: она не смогла получить никаких результатов, поскольку удержание позиции недоверия отнимало столько сил, что невозможно было следить за разговором. Она совершенно не могла представить себе, как бы это ее друзья-собеседники могли ее обманывать, – ведь они все время говорили о таких незначительных вещах.

Для многих студентов предположение о том, что другой человек – вовсе не тот, кем кажется, и ему не следует верить, было равносильно предположению, что этот другой злится на них и ненавидит их. С другой стороны, многие жертвы, хотя и жаловались, что у студента не было никаких причин так скверно обходиться с ними, по собственной инициативе предпринимали попытки объясниться и примириться. И лишь когда эти попытки оказывались безуспешными, следовали открытые проявления злости и «отвращения».

Для двух студентов, попытавшихся провести эту процедуру с посторонними, ожидаемое раздражение испытуемого довольно быстро материализовалось в весьма острой форме. Одна студентка пристала к водителю автобуса, требуя от него заверений, что автобус действительно пройдет по улице, которая ей нужна. После того, как водитель несколько раз подтвердил, что автобус пройдет по этой улице, он вдруг вышел из себя и заорал так, что его услышали все пассажиры: «Послушайте, леди! Я ведь вам сказал уже один раз, или нет? Сколько раз я должен вам это говорить?» Она пишет: «Я кинулась в конец автобуса и забила в самый угол сиденья. У меня похолодели ноги, горело лицо, я возненавидела свое задание».

Мало кто из студентов, попытавшихся выполнить это задание с друзьями или членами семьи, сообщал, что испытал чувство стыда или замешательства. Они, равно как и мы, с удивлением обнаружили, что, как написал один из студентов, «едва начав играть роль человека, которого ненавидят, я и правда почувствовал, что меня ненавидят, и к тому времени, когда вышел из-за стола, уже как следует разозлился». К еще большему нашему удивлению, многие сообщали, что получили удовольствие от выполнения этого задания, при том, что и их партнеры, и они сами по-настоящему сердились.

Хотя объяснения студентов в большинстве случаев легко выправляли ситуацию,

несколько эпизодов «приняли серьезный оборот» и оставили у одной или обеих сторон ощущение беспокойства, не развеянного предложенным объяснением. Это можно проиллюстрировать отчетом одной замужней студентки, которая в конце ужина с некоторой тревогой спросила мужа о его работе поздно вечером накануне и намекнула, что сомневается, действительно ли в один из вечеров на предыдущей неделе он играл в покер, как утверждал. Она не спросила, что он делал на самом деле, но показала, что ей необходимы какие-то объяснения. Он – не без сарказма – поинтересовался: «Тебя, похоже, что-то беспокоит? Ты не можешь мне сказать, что именно? Наш разговор наверняка имел бы больше смысла, если бы я тоже знал это». Она обвинила его в умышленном уходе от темы, хотя никакой темы не было обозначено. Он упрямо ждал, чтобы *она* сама сказала *ему*, в чем, собственно, дело. Когда она этого не сделала, он спросил прямо: «Ну, хорошо, в чем дело?» Вместо ответа «я бросила на него долгий и тяжелый взгляд». Он явно расстроился, стал очень внимательным, мягким, убедительным. В ответ она призналась, что проводила эксперимент. Он, очевидно несчастный, гордо отошел и весь остаток вечера был сумрачен и подозрителен. Она между тем оставалась за столом. Задетая и обеспокоенная его замечаниями (которые ее же заявлениями и были вызваны) о том, что на работе к нему не пристают «со всякими инсинуациями», особенно инсинуациями по поводу того, что на работе ему не скучно, а с ней дома он скучает, она писала: «Меня действительно задело его замечание. На протяжении всего эксперимента я чувствовала себя более расстроенной и обеспокоенной, чем он, из-за того, что он казался таким невозмутимым». Ни один из них не захотел продолжить обсуждение этого вопроса. На следующий день муж признался, что был сильно расстроен и у него были следующие реакции (именно в таком порядке): решимость оставаться спокойным; потрясение в связи с «подозрительной натурой» жены; удивление, когда он обнаружил, что его подшучивание вызывает такую тяжелую ответную реакцию; решимость заставить ее сформулировать собственные ответы на ее же вопросы, ничего не отрицая и никак ей не помогая; огромное облегчение, когда обнаружилось, что это столкновение было спровоцировано экспериментально; но в конечном итоге все же сохранявшееся весь остаток вечера неприятное чувство, которое он охарактеризовал как «поколебленные представления о моей (жены) натуре».

Фоновое понимание и неразбериха

Выше утверждалось, что возможность общего понимания состоит не в проявляемой мере общего знания общественных структур, но целиком и полностью заключается в узаконенном характере действий в соответствии с ожиданиями повседневной жизни как морали. Здравый смысл как знание фактов общественной жизни является для членов общества институционализированным знанием реального мира. Обыденное знание не только изображает реальное общество для его членов, но сами свойства реального общества, как самореализующиеся пророчества, воспроизводятся людьми посредством мотивированного подчинения этим фоновым ожиданиям. А значит, стабильность согласованных действий должна прямо зависеть от всех и любых реальных условий общественной организации, которые обеспечивают мотивированное подчинение людей этой фоновой системе «уместностей» как узаконенному порядку представлений о жизни в обществе, как они видятся «изнутри» этого общества. Рассматриваемая же с точки зрения отдельного человека, его приверженность к мотивированному подчинению состоит в понимании и признании им «естественных фактов жизни в обществе».

Из этих соображений следует, что чем более жестким является представление члена сообщества о том, что всякий-нормальный-человек-обязательно-знает, тем

сильнее будет его замешательство, если при описании им своих реальных жизненных обстоятельств «естественные факты жизни» окажутся поставленными под сомнение. Процедура, призванная проверить это предположение, должна изменить *объективную* структуру знакомой, известной участникам среды, сделав фоновые ожидания неработающими. Это изменение, в частности, должно поставить человека перед нарушением фоновых ожиданий в отношении повседневной жизни и при этом (а) не позволять ему интерпретировать складывающуюся ситуацию как игру, эксперимент, обман, т.е. нечто иное, чем то, что в соответствии с повседневной установкой известно ему как проявление санкционированной морали и нравственного поведения; (б) заставить его реконструировать «естественные факты», но не дать достаточного времени на такое реконструирование с точки зрения необходимого овладения практическими обстоятельствами, для которых ему приходится использовать свое знание «естественных фактов»; и (с) требовать, чтобы он справился с реконструкцией естественных фактов сам и без согласованных обоснований.

Предполагается, что у человека не будет другой альтернативы, кроме как попытаться нормализовать возникающие несоответствия в порядке событий повседневной жизни. Однако в результате самих этих усилий события будут все более утрачивать свой кажущийся нормальным характер. Испытуемый оказывается не в состоянии приписать происходящему статус типичного события. Ему не удастся ни вынести суждения о происходящем на основе сравнения его с чем-то похожим, ни связать текущие события с похожим порядком событий, встречавшимся ему прежде. Он не может указать условия, при которых подобные события могли бы повториться, не говоря уже о способности опознать их «с первого взгляда». Он неспособен упорядочить эти события в соответствии с отношением «цели-средства». Должна быть подорвана его убежденность в том, что происходящее всегда *освящено* моральным авторитетом знакомого ему общества. Стабильные и «реалистичные» соответствия между намерениями и целями должны распасться – здесь я имею в виду, что способы (в других обстоятельствах известные ему), которыми объективная, воспринимаемая обстановка служит мотивирующей основой эмоций и, одновременно, сама мотивируется эмоциями, направленными на нее, должны стать непонятными. Короче говоря, реально воспринимаемая участниками ситуация, утратив фон «всемирно-известного», должна стать «конкретно-бессмысленной».⁶ В идеальном случае поведение участников по отношению к такой бессмысленной ситуации должно проявлять их замешательство, неопределенность, внутренние конфликты, психосоциальную изоляцию, острое и ненаправленное беспокойство, а также различные симптомы острой деперсонализации. Соответственно и структуры взаимодействия будут дезорганизованы.

Все это предполагает очень сильное нарушение фоновых ожиданий. Очевидно, что на практике мы готовы были согласиться и на меньшее, лишь бы применяемая процедура дала обнадеживающие результаты в отношении справедливости этой формулировки. Оказалось же, что она обеспечивает убедительные и легко обнаруживаемые проявления смятения и беспокойства.

Необходимо, однако, указать, с какими именно ожиданиями мы имели дело. Шюц пишет, что свойство сцены, «известное-мне-сообща-с-другими», является

⁶ Термин заимствован из работы Макса Вебера «The Social Psychology of the World Religions» (*From Max Weber: Essays in Sociology*, trans. H. H. Gerth and C. Wright Mills (New York: Oxford University Press, 1946), pp. 267–301. Я адаптировал его смысл.

сложносоставным и включает ряд компонент. Поскольку эти компоненты уже описаны в других работах,⁷ их обсуждение здесь можно ограничить кратким перечислением.

По Шюцу, всякий человек считает (полагая при этом, что и другой человек считает так же, и что, если он предполагает это в отношении другого, то и этот другой предполагает то же самое относительно него самого), что:

1. качества, которые приписываются событию свидетелями, являются необходимыми и не обусловлены личными пристрастиями или социально структурированными обстоятельствами конкретных свидетелей, т.е. эти качества обладают свойством «объективной необходимости», «природных явлений»;

2. санкционированным отношением между «наблюдаемым проявлением объекта» и «тем объектом, который намеревались предъявить в том или ином конкретном виде» является отношение несомненного соответствия;

3. событие, известное так, как оно известно, способно и реально, и потенциально воздействовать на свидетеля и само испытать влияние его действий;

4. смыслы событий являются продуктами социально стандартизированного процесса именованья, реификации и идеализации потока опыта пользователей, т.е. являются продуктами языка;

5. наличествующие свойства события, какими бы они ни были, являются свойствами, подразумевавшимися в предыдущих случаях и могут точно так же подразумеваться в неограниченном числе будущих проявлений;

6. подразумеваемое событие удерживается как временно тождественное во всем потоке опыта;

7. в качестве контекста интерпретации событие имеет (а) широко распространенную схему интерпретации, состоящую из стандартизированной системы символов, и (б) «то, что всякому известно», т.е. заранее заданный корпус социально гарантированного знания;

8. наличествующие свойства, раскрывающиеся свидетелю в событии, являются потенциальными свойствами, которые раскрылись бы и другому участнику, если бы они поменялись местами;

9. каждому событию соответствуют свои свойства, источником которых служат конкретные биографии свидетеля и другого участника. С точки зрения свидетеля, эти свойства несущественны для актуальных целей обоих, и оба они отбирают и интерпретируют актуальные и потенциальные свойства событий эмпирически тождественным образом, удовлетворительным для обоих с чисто практической точки зрения;

10. существует характерное несоответствие между публично признаваемыми и личными, неафишируемыми, признаками событий, и это личное знание хранится в резерве, т.е., событие означает и для свидетеля, и для другого, больше, чем может сказать свидетель;

11. изменения этого характерного несоответствия остаются в ведении свидетеля.

Неверно думать, что именно отличительные признаки, раскрывающиеся в событии, являются условием его включенности в «известную по здравому смыслу среду». Напротив, сами условия этой включенности предопределяют, что эти признаки, в чем бы они по существу не состояли, окажутся видны и другому человеку (при обмене позициями), а свойства события не являются делом личного вкуса, но очевидны всякому, т.е. именно таковы, как те, что перечислены выше. Эти и только эти

⁷ Schutz, «Common Sense and Scientific Interpretations of Human Action,» in *Collected Papers I: The Problem of Social Reality*, pp. 3-96; and «On Multiple Realities», pp. 207-259. Garfinkel, Chapter 8, and «Common Sense Knowledge of Social Structures,» *Transactions of the Fourth World Congress of Sociology*, 4 (Milan, 1959), 51-65.

перечисленные свойства *независимо от* любых других свойств события определяют его характер как события из области здравого смысла. Какие бы другие признаки не проявляло событие повседневной жизни – будь то признаки, связанные с мотивами людей, их биографиями, уровнем доходов, родственными обязательствами, организацией промышленности или бог знает, с чем еще – тогда и только тогда, когда событие имеет для свидетеля вышеназванные свойства, оно действительно является событием в среде «известной всякому сообществу со всеми остальными».

Подобные признаки относятся к числу тех свойств наблюдаемых событий, которые свидетель видит, но не замечает. Они имеют самое непосредственное отношение к здравому смыслу происходящего для его участников или наблюдателей. Именно они извещают свидетеля о любых проявлениях межличностной среды. Именно эти признаки информируют свидетеля о том, проявлением каких реальных объектов являются наблюдаемые им события, но при этом их вовсе не обязательно опознавать преднамеренно или осознанно.

Поскольку всякое ожидание, участвующее в формировании установки повседневной жизни, приписывает какое-то ожидаемое свойство окружающей действующего среде, разрушить эти ожидания можно, намеренно изменяя происходящие события так, чтобы они обманывали ожидания человека в отношении тех или иных свойств событий. Очевидно, что такие неожиданности можно подстроить по любому из этих ожидаемых свойств. Насколько неприятной окажется подобная неожиданность, будет самым непосредственным образом зависеть от того, в какой мере человек подчинен моральной необходимости использовать их в качестве схемы для приписывания наблюдаемым явлениям статуса событий в нормальной по видимости среде. Короче говоря, реалистичное восприятие членом сообщества естественных жизненных фактов и его устойчивое отношение к знанию этих фактов как к основе для самоуважения (т.е. представления о себе как о добропорядочном и компетентном члене коллектива⁸) являются тем условием, которое нам необходимо, чтобы максимально усилить его замешательство в том случае, когда привычные способы понимания станут источником непреодолимого несоответствия.

Я разработал процедуру нарушения этих ожиданий с соблюдением трех условий, при которых их нарушение должно предположительно вызвать замешательство, а именно: участник не сможет обратить ситуацию в игру, шутку, эксперимент, розыгрыш и т.п. (по Левину – не сможет «покинуть поле»); у него не будет времени на выработку нового определения своих обстоятельств; он будет лишен консенсуальной поддержки для альтернативного определения социальной реальности.

В ходе эксперимента были проведены индивидуальные трехчасовые интервью с 28 учащимися (будущими средними медицинскими работниками). Легенда экспериментатора (он выступал в качестве представителя медицинской школы с Восточного побережья, который пытается понять, почему приемное собеседование в медицинские школы вызывает такой стресс) служила и оправданием для обращения к этим студентам, средством начать разговор. Мы полагали, что представив

⁸ Я использую термин «компетентность» для обозначения претензий члена коллектива на право управлять своими повседневными делами без постороннего вмешательства. Это право может считаться само собой разумеющимся – именно это я имею в виду, говоря о «добропорядочности» членов коллектива. Более подробно связь между «компетентностью» и «знанием социальных структур на уровне здравого смысла» можно найти в докторской диссертации Эгона Биттнера (Egon Bittner, «Popular Interests in Psychiatric Remedies: A Study in Social Control», University of California, Los Angeles, 1961). Термины «коллектив» и «член коллектива» используются в строгом соответствии с: Talcott Parsons, *The Social System* (New York: The Free Press of Glencoe, Inc., 1951), а также: *Theories of Society*, by Talcott Parsons, Edward Shils, Kaspar D. Naegele, and Jesse R. Pitts (New York: The Free Press of Glencoe, Inc., 1961).

экспериментатора человеком, связанным с медицинским образованием, затрудним для учащихся «бегство с поля», когда начнется процедура разрушения ожиданий. Как выполнялись два других условия – (а) переопределение обстоятельств в условиях ограничения времени и (б) невозможность рассчитывать на консесуальную поддержку в альтернативном определении социальной реальности – станет очевидным из дальнейшего описания.

В первый час интервью учащийся сообщал «представителю медицинской школы» различные сведения о приемном собеседовании, отвечая ему на такие вопросы как: «Из каких источников могут медицинские школы получить сведения об абитуриентах?»; «Каких людей стараются отбирать медицинские школы?»; «Как абитуриенту следует вести себя во время собеседования?»; и «Чего не следует делать?». Затем учащемуся сообщали, что исследовательские интересы экспериментатора вполне удовлетворены, и спрашивали, не хочет ли он послушать запись подлинного интервью. Все студенты выразили такое желание.

Запись представляла собой специально подготовленную в целях эксперимента беседу между «представителем медицинской школы» и «абитуриентом». Абитуриент был занудой, его речь изобиловала грамматическими ошибками и жаргонными выражениями, он был уклончив, возражал собеседнику, хвастался, принижал другие школы и профессии, настаивал на том, чтобы ему тут же сказали, как он справился с этим интервью. Сразу после прослушивания записи учащихся просили дать развернутую оценку «абитуриенту».

Затем учащегося знакомили с «личным делом» абитуриента – сначала с его биографическими («объективными») данными, потом – с характеристикой. «Объективные данные» включали сведения о занятиях абитуриента, его оценках, семье, образовании, благотворительной деятельности и т.п. Набор характеристик включал тексты, написанные «д-ром Гарднером, проводившим собеседование», «шестью членами приемной комиссии, имеющими психиатрическую подготовку и прослушавшими записанную беседу», и «другими учащимися».

Эти данные специально подбирались так, чтобы они противоречили основным моментам в оценке абитуриента учащимся. Например, если учащийся говорил, что абитуриент, должно быть, из бедной семьи, ему сообщали, что отец абитуриента – вице-президент компании, производящей пневматические двери для поездов и автобусов. Абитуриент показался невеждой? Тогда сообщалось, что он с превосходными результатами окончил курс типа «Поэзия Мильтона» или «Драматургия Шекспира». Если учащийся говорил, что абитуриент, по-видимому, плохо ладит с людьми, ему сообщали, что тот добровольно участвовал в сборе пожертвований для Сайденхэмской больницы в Нью-Йорк Сити и сумел получить 32 000 долларов у 30 «крупных доноров». В ответ на утверждение, что абитуриент глуп и не сможет успешно заниматься наукой, сообщалось, что у него были отличные оценки по органической и физической химии, а исследовательское задание для младшекурсников он выполнил на уровне выпускной работы.

Учащиеся очень хотели узнать, что подумали об абитуриенте «другие» и был ли он принят. Им говорили, что абитуриент был принят и впоследствии вполне подтвердил зачитанную учащемуся многообещающую характеристику представителя медицинской школы и «шести психиатров», которые настоятельно рекомендовали принять абитуриента в школу ввиду его подходящего характера. Что касается мнения других учащихся, то учащемуся сообщалось (например), что из 30 других опрошенных учащихся 28 полностью согласились с оценкой представителя медицинской школы, а двое остальных поначалу слегка сомневались, но, получив первые же объективные сведения, дали абитуриенту ту же оценку, что и остальные.

После этого учащемуся предлагалось еще раз послушать запись, а затем его снова просили дать оценку абитуриенту.

Результаты. 25 из 28 учащихся поддались на эту мистификацию. Только трое из всех опрошенных были твердо уверены, что их обманывают. Два из этих случаев будут обсуждаться в заключительной части этого раздела.

Столкнувшись с тем, что их первоначальная (и чрезвычайно негативная) оценка «абитуриента» решительно противоречит его объективным данным, учащиеся прилагали немалые усилия, чтобы привести эти данные в соответствие со своей оценкой. Так, например, поначалу многие предполагали и даже утверждали, что абитуриент – выходец из низов общества. Узнав, что его отец – вице-президент национальной корпорации, производящей пневматические двери для автобусов и поездов, они реагировали следующим образом:

«Ему следовало бы сказать, что он *не нуждается* в деньгах».

«Это объясняет, почему он говорит, что должен был работать. Видимо, его отец заставлял. Так что его жалобы, по большей части, неоправданны, в том смысле, что его дела не так уж плохи».

«Ну и что, какое отношение это имеет к его ценностям?»

Когда им сообщили, что у него были превосходные баллы по естественным наукам, учащиеся начали открыто выражать свое недоумение.

«Он прошел столько разных курсов... Я – в недоумении. Собеседование, видимо, не слишком успешно выявило его характер».

«Похоже, он и вправду изучал какие-то странные предметы. Нет, они вроде вполне нормальные. Ну, не то, что нормальные... но... так или иначе, это меня не удивляет».

«Ого! Я думаю, это можно так проанализировать. Психологически. Видите ли... может быть, например, ... ну, я хоть и *не слишком силен* в этом, но вот мой взгляд на *такие вещи*. У него, наверное, был комплекс неполноценности, и это гиперкомпенсация за этот комплекс неполноценности. Его *замечательные* оценки ... его *хорошие* оценки – это компенсация за его неудачу... в социальных контактах, может быть, не знаю».

«Оп-па! Третий по рейтингу в Джорджии. (Глубокий вздох) Понятно, что он разозлился, когда его не приняли в Фи Бета».

Попытки справиться с несоответствием своей характеристики оценкам, которые дали личности абитуриента преподаватель медицинской школы «Гарднер» и «шестеро других судей», встречались гораздо реже, чем попытки как-то упорядочить (нормализовать) объективные данные. Здесь открытые высказывания недоумения и беспокойства характерно перемежались молчаливыми раздумьями:

«(Смешок) Подумать только! (Тишина) Я думал – все будет наоборот. (Очень подавленно) Может, я и не прав вовсе. Я совершенно сбит с толку. Я – в полном недоумении».

«Да не вежливый он. Он, конечно, самоуверенный. Но не вежливый. Не знаю. Или этот преподаватель слегка с приветом, или я. (Долгая пауза) Просто поразительно! Поневоле засомневаешься в собственных оценках. Может быть, мои жизненные ценности неверны, не знаю».

«(Присвистывает) Я — нет, я не думаю, что он производит впечатление хоть как-то воспитанного человека. Да этот его тон!! Я ... хотя, Вы заметили, может, когда он там *первый раз* сказал: “Раньше надо было говорить!” – он (преподаватель в записанном на пленку собеседовании) отнесся к этому с юмором. Ну да и все равно! Не-е-ет, я даже не могу себе представить – “Раньше надо было говорить!” Может он, конечно, шутил. Пытался... Нет! Все-таки это нахальство!»

«Э-э... Ну, это заставляет меня совершенно иначе взглянуть на собеседование. . . Гм...это... ну это меня совсем запутало».

Ну... (смешок)... Мм-м! Э-э-э! Ну, возможно он выглядел очень прилично. Ему удалось ... удалось объяснить. Может быть... если видишь своими глазами, все выглядит по-другому. А может, из меня не вышел бы хороший интервьюер. (Задумчиво и еле слышно) У них вообще ничего нет из того, что я отметил. (Экспериментатор: Что-что?) (Испытуемый – громче): Они не упоминают ничего из того, что я отметил, похоже, я совершенно провалился».

Слегка оправившись от первого изумления, вызванного предъявлением «объективных» данных, испытуемые иногда спрашивали, что по этому поводу говорили другие учащиеся. Однако их сначала знакомили с характеристикой, данной «д-ром Гарднером», и лишь после того, как они высказывали свое отношение к ней, им сообщали мнения «других учащихся». Кому-то из испытуемых говорили при этом, что так высказались «34 из 35 студентов, опрошенных до Вас», кому-то – 44 из 45, 19 из 20 или 50 из 52. Числа всякий раз были большими. Высказывания 18 из 25 учащихся были чрезвычайно близки к приводимым ниже отрывкам из наших протоколов:

(34 из 35) «Ну не знаю ... Я все-таки уверен в своем впечатлении. Я ...я ... А скажите мне, пожалуйста, что ... я увидел неверно. Может, я ... может, у меня ... с самого начала было неправильное представление, точнее, неправильное отношение. (Вы можете мне сказать? Мне ужасно интересно, как могло получиться такое расхождение). Определенно ... я думаю... я полагаю, что все должно было быть с точностью до наоборот. Не могу понять. Правда, я совершенно сбит с толку. Я ... нет, я не понимаю, как я мог так ошибиться. Может, я вообще неверно оцениваю людей. Я хочу сказать, может, я неправильно... может, у меня другие критерии ... или... не такие, как у тех тридцати трех. Нет, я не думаю, что это так . . . потому что... при всей своей скромности я могу так сказать ... я ... обычно правильно сужу о людях. Я имею в виду: в школе, в разных группах, в которых я участвовал ... я обычно правильно их оценивал. Так что я *совершенно* не понимаю, как это я так ошибся. Не похоже, чтобы я был в напряжении или волновался... сегодня... нет, не понимаю».

(43 из 45) «(смешок) Даже не знаю, что и сказать. Меня тревожит, что я оказался неспособен как следует оценить этого парня. (Подавленно) Не настолько, конечно, чтобы я сегодня не заснул, (очень подавленно) но это меня очень растрожило. Простите, что я не... но все-таки возникает один вопрос ... может, я ошибаюсь ... (Экспериментатор: Попробуйте представить себе, каким они его видели.) Нет. Нет, не могу я этого представить, нет. Конечно, со всем этим биографическим материалом – да, но я не понимаю, как Гарднер справился без него. Ну, да, я понимаю, именно поэтому, Гарднер – это Гарднер, а я – это я. (Сообщается, что и остальные 45 учащихся не располагали этим биографическим материалом.) Да-да, да, конечно. Я вовсе не имел в виду, что я тут все отвергаю. Я хочу сказать, что, на мой взгляд совершенно бессмысленно говорить... Ну конечно! С такими данными его просто должны были принять, тем более, что он мужчина, господи! Ну ладно, что-нибудь еще?»

(36 из 37) «Может, я бы и отступил от своего первого суждения, но не слишком сильно. Просто я этого не вижу. Почему у меня должны быть другие критерии? Разве мое мнение не соответствует другим более или менее? (Экспериментатор: Нет.) Надо подумать. Забавно. Если только Вам не попались 36 очень необычных людей. Нет, не понимаю. Может, дело во мне. (Экспериментатор: Какая разница?) Большая, если предположить, что они правы. То, что я считаю правильным, они считают неправильным. Я думаю все же . . . все-таки человек такого типа мне бы не показался своим, эдакий умник, от которого лучше держаться подальше. Можно, конечно, так

разговаривать с другими ребятами, ...но на собеседовании?!... Теперь я совсем запутался, еще хуже, чем в начале этого разговора. Думаю, надо пойти домой и посмотреть в зеркало, поговорить с самим собой. Как Вы думаете? (Экспериментатор: Почему? Вас это беспокоит?) Да, это меня *беспокоит!* Вся эта история заставляет меня думать, что я сужу о людях и ценностях не так, как нормальные люди. Скверное дело! (Экспериментатор: Какая разница?) Если я так действую всегда, значит, я просто сую голову в пасть льву. У меня были кое-какие убеждения, но они все пошли к черту. Остается только удивляться – почему у меня совершенно другие критерии. Нет-нет, все показывает, что дело тут во мне».

Из 25 обманутых испытуемых семь так и не смогли примириться с тем, что они ошиблись в таком простом деле, и не сумели «увидеть» противоположное. Они тяжело и безутешно переживали происшедшее. Еще пять участников разрешили для себя проблему, заявив, что медицинская школа приняла хорошего человека; другие пять – решив, что приняли зануду. Несколько изменив свое первоначальное мнение, они все же не совсем отказались от него. Они полагали, что точку зрения Гарднера «в целом» понять можно, но этому пониманию не хватало убежденности. Как только им указывали на конкретные детали, понимание улетучивалось. Эти испытуемые готовы были согласиться с «общей» картиной, но странные подробности того же портрета, попадая им на глаза, вызывали у них настоящие мучения. Согласие с «общей» картиной сопровождалось новыми характеристиками, которые не просто противоречили прежним суждениям испытуемого, но изобиловали сверхположительными определениями: так, если сначала речь абитуриента сочли неуклюжей, то теперь она оказывалась чрезвычайно «гладкой»; он был уже не грубым, а «очень» естественным; не истеричным, а «совершенно» спокойным; а кроме того, испытуемые обнаруживали у абитуриента и новые качества благодаря новому представлению о том, как именно слушал его экзаменатор медицинской школы. Они *увидели*, например, что экзаменатор *улыбнулся*, когда абитуриент забыл предложить ему сигарету.

Трое испытуемых были убеждены в том, что их обманывают, и соответствующим образом вели себя на протяжении всего интервью. У них не было никакого замешательства. Двое из них ужасно переживали, когда выяснилось, что собеседование окончено, они могут быть свободны, но никто не собирается признавать обмана.

Поведение еще троих испытуемых, страдавших молча, поставило экспериментатора в тупик. Никак не показывая этого экспериментатору, они рассматривали ситуацию как экспериментальную, требующую от них решения неких проблем, и поэтому считали, что должны справиться с этим как можно лучше и не вносить каких-либо поправок в высказанные суждения, поскольку только так они действительно помогут исследованию. На протяжении всего интервью экспериментатору было очень трудно с ними – они были явно встревожены, но их высказывания были неизменно вежливы и не давали возможности обратиться к источнику их беспокойства.

И наконец, еще трое испытуемых, сильно отличавшиеся от всех остальных. Один из них утверждал, что представленные характеристики «семантически неоднозначны» и, поскольку информации было недостаточно, они не могли быть «достаточно точными». Другой испытуемый, единственный из всей выборки, счел второй портрет не менее убедительным, чем первый. Когда мистификация раскрылась, он очень расстроился, что мог так обмануться. Третьего испытуемого все предьявляемые материалы если и смущали, то не сильно и не надолго. Из всей выборки, однако, только он уже прошел собеседование в медицинской школе и имел там прекрасные связи. Несмотря на то, что его успеваемость была не более чем

удовлетворительной, он считал свои шансы на поступление довольно высокими, говоря при этом, что дипломатическая карьера предпочтительнее медицинской.

И последнее наблюдение – 22 из 28 испытуемых выразили явное облегчение (10 из них весьма эмоционально), когда обман раскрылся. Они единодушно отметили, что сообщение об обмане позволяет им вернуться к своим прежним взглядам. Семерых пришлось убеждать в самом факте обмана. Когда им рассказали об обмане, они стали спрашивать, чему же они должны верить. Может быть, экспериментатор говорит об обмане, чтобы они не чувствовали себя так скверно? Тогда, не считаясь с временем и усилиями, экспериментаторы разъяснили им все правды и неправды, окончательно убедив их в том, что обман все-таки имел место.

Поскольку, с точки зрения отдельного человека, его готовность соответствовать ожиданиям, составляющим установки его повседневной жизни, обусловлена его пониманием и принятием «естественных жизненных фактов», вариации в организационных условиях проявления такой готовности разными членами коллектива должны выражаться их различиями в понимании и принятии «естественных жизненных фактов». Следовательно, выраженность описанных выше эффектов должна прямо зависеть от степени приверженности испытуемого своему пониманию естественных жизненных фактов. Кроме того, вследствие *объективного* характера воспринимаемого и общего для участников нравственного порядка фактов коллективной жизни, выраженность этих эффектов должна зависеть и от сложившегося у них понимания этих естественных жизненных фактов, и независимо от их «личностных характеристик». Под личностными характеристиками я понимаю все свойства личности, используемые в экспериментальных методиках для объяснения действий человека посредством соотнесения этих действий с более или менее систематически наблюдаемыми переменными его мотивации и «внутренней жизни», когда не учитываются социальные и социокультурные воздействия. Этому условию отвечают результаты большинства распространенных методик оценки личности и клинических психиатрических процедур.

Таким образом, должно обнаруживаться следующее явление. Представим себе, что существует процедура, позволяющая убедительно оценить степень приверженности данного человека своему пониманию «естественных фактов социальной жизни». Вообразим также, что имеется и другая процедура – позволяющая оценить степень растерянности человека в широком спектре интенсивности и сочетаний описанного выше поведения. Тогда для совокупности произвольно выбранных личностей и независимо от способа определения личности первоначальное соотношение между приверженностью «пониманию естественных фактов» и «растерянностью» должно быть случайным. Когда ожидания повседневной жизни нарушаются (при условии, что такие нарушения создаются оптимальным образом), люди будут различаться по проявляемой ими растерянности на величину, коррелирующую с их исходной приверженностью своему пониманию «естественных фактов жизни».

Явление, которое, как я полагаю, должно обнаруживаться, показано на рис. 1 и 2, отражающих результаты описанного выше обследования 28 учащихся медицинской школы. До предъявления несогласующегося материала корреляция между приверженностью учащихся общему моральному порядку фактов жизни медицинской школы и их тревожностью составляла 0,026. После предъявления несогласующегося материала и безуспешных попыток его «нормализации», но прежде, чем обман был раскрыт, корреляция составила 0,751. Поскольку процедуры оценки были очень грубы, а также вследствие серьезных ошибок, допущенных при разработке и проведении экспериментов, и аргументации *post hoc*, эти данные – не более чем иллюстрация того,

о чем я здесь говорю. Ни при каких обстоятельствах их не следует считать открытием.

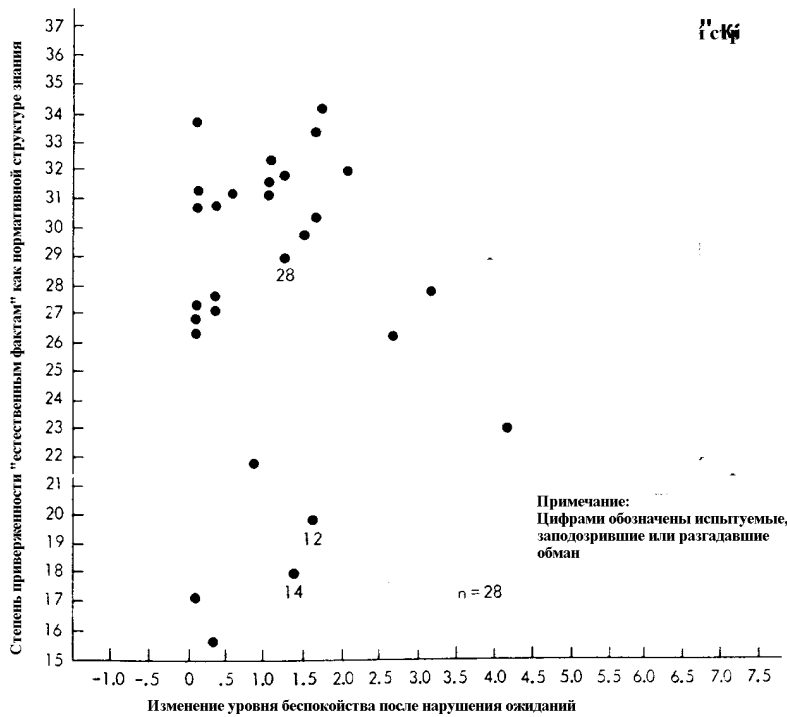


РИС. 1. Корреляция между степенью приверженности участника «естественным фактам» как институционализированной по порядку знания об обстоятельствах поступления в медицинскую школу и исходным уровнем тревожности ($r = 0,026$)

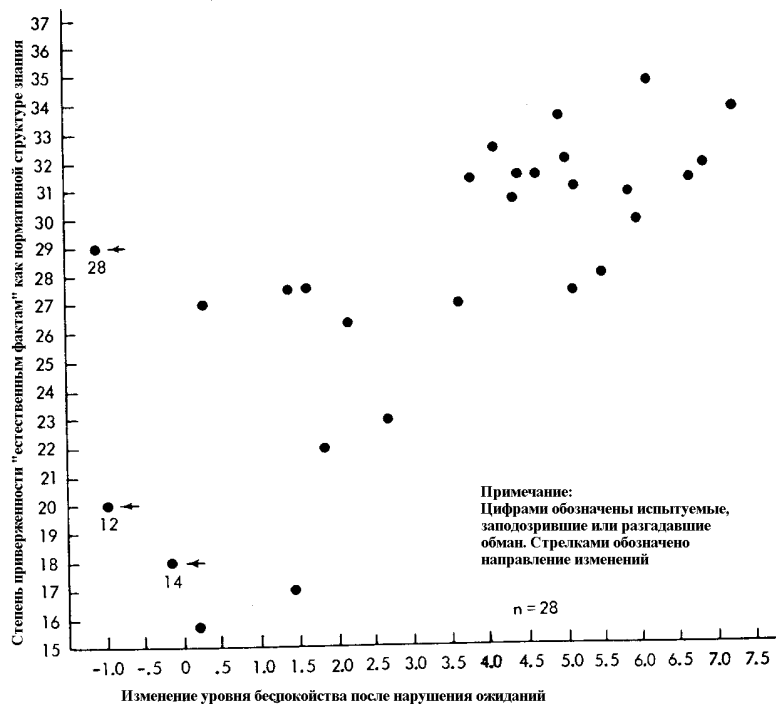


РИС. 2. Корреляция между степенью приверженности человека «естественным фактам» как институционализированной по порядку знания об обстоятельствах поступления в медицинскую школу и относительным уровнем тревожности ($r = 0,751$)

Общие понимания и тот факт, что модели человека в обществе изображают его «здравомыслящим дураком»

Множество исследований подтверждает, что социальная стандартизация общих пониманий, независимо от того, что именно стандартизуется, ориентирует действия личности на наблюдаемые события и обеспечивает ей основания для опознания отклонений от предположительно нормального хода вещей и его восстановления, а затем и для активного действия.

Теоретики в области общественных наук – особенно специалисты по социальной психиатрии и социальной психологии, антропологи и социологи – используют явление стандартизации в своих предположениях о характере и последствиях действий, согласующихся со стандартизованными ожиданиями. В целом они признают тот факт (но в конкретных случаях пренебрегают им), что люди открывают для себя эту стандартизацию, осуществляют и поддерживают ее посредством одних и тех же действий. Наиважнейшим следствием такого пренебрежения является заблуждение относительно природы и условий устойчивых действий. Это случается в результате того, что члена общества считают здравомыслящим дураком – в культурном или психологическом отношении, или и в том и в другом, и потому за рамками всякого завершеного исследования связей между действиями людей и стандартизованными ожиданиями неизменно остается немало *неопубликованного* и достаточно противоречивого материала, взывающего к существенной ревизии опубликованных данных.

Говоря о «культурном дураке», я имею в виду человека-в-обществе-сконструированном-социологом, который воспроизводит устойчивые свойства сообщества, действуя в соответствии с предустановленными и легитимными альтернативами поведения, предоставляемыми ему общей культурой. Тогда «психологический дурак» – это человек-в-обществе-сконструированном-психологом, воспроизводящий устойчивые свойства сообщества посредством выбора между альтернативными способами поведения, обусловленными его психиатрической биографией, историей воспитания и переменными функционирования психики. Общим в использовании этих «моделей человека» является тот факт, что здравомысленные основания⁹ суждений, т.е. использование человеком знания общественных структур на уровне здравого смысла вместо временной последовательности ситуаций «здесь и теперь», считаются эпифеноменами.

Дезориентирующий характер использования «здравомыслящего дурака» для описания взаимосвязи между стандартизованными ожиданиями и ходом действия связан с проблемой адекватного объяснения – довода, которым руководствуется исследователь, когда принимает решение либо рассматривать, либо отбросить соображения здравого смысла при определении необходимых связей между различными процессами действия, с учетом таких проблематичных соображений как выбор между возможными перспективами, субъективность и внутреннее время. Излюбленное решение этой проблемы – изобразить, к чему должны привести действия члена коллектива, использующего устойчивые структуры (т.е. к чему они *привели*). Это изображение служит отправным пунктом в теории, с которого начинают изображать далее, что пути достижения конечного результата имеют характер необходимости.

⁹ Более подробно здравомысленные основания обсуждаются у Шюца в «Common sense and Scientific Interpretation of Human Action», (*Collected Papers I: The Problem of Social Reality*, pp. 3-47) и в «The Problem of Rationale in the Social World», (*Collected Papers II: Studies in Social Theory*, pp. 64-88), а также ниже, в гл. 8. Соображения здравого смысла использовались Эгоном Биттнером, *op. cit.*, когда он предлагал критически пересмотреть отношение социологии к душевным болезням.

Предпочтительными приспособлениями, позволяющими справиться с проблемой обоснованности выводов, хотя бы и ценой превращения человека-в-обществе в здравомыслящего дурака, являются навязанные правила, действия и иерархии установок и потребностей, общая для людей культура.

Что же делает исследователь, чтобы превратить члена общества в здравомыслящего дурака? Приведу несколько конкретных примеров и их следствия.

Я дал учащимся задание – поторговаться с продавцами из-за обычных товаров, имеющих твердо установленную цену. Стандартизованное ожидание в данном случае состоит в «институционализированном правиле единой цены», которое, согласно Парсонсу¹⁰, является составляющей института контракта. Будучи «интериоризованным», это ожидание должно было заставить студентов-покупателей испытать страх и стыд перед выполнением задания, и стыд после его выполнения. Соответственно, продавцы должны были, как правило, проявлять беспокойство и раздражение.

В выполнении задания участвовали две группы студентов. Члены первой группы (68 студентов) должны были совершить лишь по одной такой попытке в отношении товара, стоимость которого не превышала двух долларов, предлагая заплатить гораздо меньше запрашиваемой цены. Члены другой группы (67 студентов) должны были выполнить серию попыток (6): три с товарами стоимостью два доллара или меньше и еще три с товарами по 50 и более долларов.

Результаты: (а) Продавцов можно вообще не рассматривать — они либо вели себя как дураки не того типа, который описан в современных теориях стандартизованных ожиданий, либо они были не совсем дураками. Очень немногие проявили некоторое беспокойство; и только один разозлился. (б) Из тех, что должны были сделать всего одну попытку, 21 % вообще отказались от нее или остановились на полпути, во второй группе так повели себя лишь 3 %. (в) При поэтапном анализе эпизода — ожидание попытки, обращение к продавцу, предложение более низкой цены, последующее взаимодействие, завершение эпизода, и то, что было после — обнаружилось, что опасения с наибольшей частотой проявлялись в обеих группах на этапах ожидания исполнения и обращения к продавцу *при первой попытке*. Среди тех, кто сделал только одну попытку, число участников, сообщавших о пережитом дискомфорте, уменьшалось с каждым следующим этапом. Большинство студентов, выполнивших две и более попыток, рассказывали, что к третьему эпизоду они уже начали получать удовольствие от задания. (г) Большинство учащихся отметили, что им было комфортнее торговаться из-за дорогого, а не дешевого товара. (д) Многие из тех, кто прошел через шесть эпизодов, обнаружили, к собственному «удивлению», что даже в условиях стандартных цен можно торговаться с весьма реалистичными шансами на успех; они собирались поступать так и в будущем, особенно в отношении дорогих товаров.

Эти результаты показывают, что члена общества можно выставить «культурным дураком», если: (а) изображать его человеком, который действует по правилам, когда в действительности он говорит о тревоге ожидания, мешающей ему не только пустить дело на самотек, но и, тем более, справиться с ситуацией, оставляющей ему выбор — действовать или не действовать по правилу; или (б) не замечать практическую и теоретическую важность преодоления страха. (в) Если при возникновении беспокойства человек старается избежать столкновения с некими «стандартизованными» ожиданиями, то такая стандартизация, по-видимому, является

¹⁰ Talcott Parsons, «Economy, Polity, Money and Power», dittoed manuscript, 1959.

приписываемой, что и подтверждается тем фактом, что люди избегают самих ситуаций, в которых они могли бы узнать о такого рода ожиданиях.

И обыденное, и профессиональное знание о природе действий, управляемых правилами, и о последствиях нарушения этих правил по сути основано как раз на такой процедуре. Действительно, чем важнее правило, тем больше вероятность того, что знание не основано на собственных проверках. Всякого, кто попытается исследовать ожидания, составляющие обычный фон повседневной деятельности, наверняка поджидают удивительные находки, поскольку эти ожидания редко подвергались исследователями даже такой проверке, какая может быть осуществлена путем их воображаемого нарушения.

Другой способ выставить члена общества здравомыслящим дураком – взять любую из существующих теорий формальных свойств знаков и символов и использовать ее для описания того, как люди интерпретируют проявления среды, придавая им ту или иную значимость. Есть несколько способов получить дурака. Я приведу два.

(а) Как правило, формальные исследования либо были связаны с разработкой нормативных теорий использования символов, либо, будучи предприняты ради создания описательных теорий, примирялись с нормативными. В любом случае испытуемого-интерпретатора необходимо было проинструктировать – он должен был действовать в точном соответствии с инструкциями исследователя, чтобы исследователь затем мог изучать его действия именно как проявления того, что исследователь имел в виду. Однако, по Витгенштейну¹¹, действительное использование тех или иных знаков (символов) – это их рациональное использование в контексте *определенной* «языковой игры». В чем же состоит *его* игра? Пока этим важнейшим вопросом пренебрегают, конкретные применения символов человеком неизбежно обманывают надежды исследователей. И чем более справедливо сказанное, тем в большей мере интересы испытуемых при использовании символов определяются практическими соображениями, отличными от соображений исследователя.

(б) Имеющиеся в настоящее время теории могут сказать немало важного о таких функциях знаков как метки и обозначения, но хранят молчание о таких неизмеримо более общих функциях знаков как толкование, синекдоха, фиксированное обозначение, эвфемизм, ирония и двойственность. Можно спокойно не обращаться к знанию об обычных делах на уровне здравого смысла при обнаружении и анализе меток и обозначений в качестве знаковых функций, *поскольку* пользователи этого тоже не делают. Однако анализ иронии, двойственности, произвольного толкования и т.п. требует совершенно иного. Любая попытка рассмотреть взаимосвязь высказываний, смыслов, перспектив и тенденций непременно требует обращения к знанию о повседневных делах на уровне здравого смысла.

Хотя исследователи и пренебрегают обычно этими «сложными» функциями, они все же не могут вполне уклониться от связанных с ними трудностей. Поэтому они прибегают к толкованию: объясняют, что использование членом языковой общности того или иного символа обусловлено либо культурой, либо потребностями; интерпретируют пары внешних проявлений и подразумеваемых объектов — т.е. сочетания «знака» и «обозначаемого» — как ассоциацию. И всегда добросовестному описанию такого использования символов мешает пренебрежение суждениями пользователя.

Именно эта работа суждения в сочетании с ее опорой на знание общественных структур на уровне здравого смысла и обращениями к нему настойчиво привлекала

¹¹ Ludwig Wittgenstein, *Philosophical Investigations* (Oxford: Basil Blackwell, 1959).

наше внимание в каждом случае нарушения привычного хода вещей, поскольку нашим испытуемым приходилось сражаться именно с собственной деятельностью рассуждения и с собственным знанием на уровне здравого смысла как практическими проблемами, встававшими пред ними вследствие этих нарушений. Каждый случай отклонения от ожидаемого привычного хода обыденных дел, сколь бы значительным это отклонение ни было, требовал от испытуемого распознавания того факта, что экспериментатор использует двойное истолкование, иронию, приукрашивание, эвфемизм или ложь. Это многократно повторялось при отклонениях от обычных правил игры.

Студентам было поручено поиграть в крестики-нолики с разными людьми (по возрасту, полу и близости знакомства). Нарисовав таблицу, студент должен был предложить партнеру (испытуемому) сделать первый ход. После того как испытуемый делал свой ход, студент стирал поставленную им метку, перемещал ее в другой квадратик и ставил собственную метку, делая вид, что ничего необычного не происходит. По рассказам студентов, в половине случаев (из 247 попыток) их партнеры считали, что происходящее имеет некий скрытый, но вполне определенный смысл. Испытуемые были убеждены, что экспериментатор (студент) «чего-то добивается», хоть и не говорит, чего именно, и то, что он «на самом деле» делает, не имеет никакого отношения к игре в крестики-нолики, т.е. он, например, кокетничает (с представителем противоположного пола); намекает на глупость испытуемого; пытается его как-то задеть или даже оскорбить. Аналогичные эффекты наблюдались и в тех случаях, когда студенты торговались по поводу товаров, имеющих твердо установленную цену; просили собеседников пояснить смысл совершенно тривиальных высказываний; присоединялись без приглашения к незнакомой группе собеседников или во время обычной беседы «рассеянно бродили взглядом» по окружающим предметам.

Еще один способ выставить человека культурным дураком – это упростить коммуникативную ткань его поведенческой среды. Например, придав особое значение физическим аспектам среды, можно теоретически вынести за экзистенциальные рамки тот факт, что среда, в которой человек находится, будучи сплетением потенциальных и реальных событий, содержит не только видимые объекты и приписываемые им свойства, но и его собственные яркие внутренние состояния. Мы наблюдали это в следующих опытах.

Студентам предложили выбрать кого-то не из членов своей семьи и в ходе обычной беседы, ничем не показывая, что происходит что-то необычное, приблизить лицо к лицу собеседника так, чтобы чуть ли не соприкоснуться с ним носами. Получено 79 отчетов. В большинстве из них, независимо от соотношения полов собеседников (однополое или разнополое пары), от близости собеседников друг другу (просто знакомые или близкие друзья, с незнакомыми людьми экспериментировать не разрешалось), от разницы в возрасте (за исключением случаев с детьми), такое поведение вызывало у *обоих* (и у экспериментатора, и у испытуемого) атрибуцию сексуального намерения со стороны партнера, хотя какое бы то ни было подтверждение такого намерения исключалось самих характером процедуры. Приписывание подобных намерений другому сопровождалось собственными импульсами данного человека, которые в свою очередь становились частью происходящего – человек не только чувствовал себя желаемым, но и сам испытывал желание. Неподтвержденное приглашение к выбору сопровождалось неуверенностью и относительно собственного выбора, и относительно своей избранности партнером. Характерными были попытки избегания, смятение, острое замешательство и, более всего, ощущение неопределенности всех этих состояний, наряду с неопределенными страхами, надеждами и гневом. Эти эффекты особенно заметно проявлялись между мужчинами.

Как правило, студентам-экспериментаторам не удавалось нормализовать ситуацию. Испытуемые лишь отчасти принимали их объяснение, что это было сделано «в порядке эксперимента по курсу социологии». Нередко они с упреком говорили: «Ну ладно, это был эксперимент, но почему ты выбрал *меня?*» Обычно и испытуемому, и экспериментатору хотелось продолжить разрешение ситуации за рамками такого объяснения, но ни один, ни другой не знали, в чем бы оно могло или должно было состоять.

И наконец, члена общества можно выставить здравомыслящим дураком, если представить дело так, как будто обычные, рутинные действия управляются ранее достигнутым соглашением, и считать при этом вероятным, что человек признает отклонение от обычного хода вещей обусловленным такого рода соглашениями. То, что это чисто академическое допущение, позволяющее, однако, вывести за экзистенциальные рамки чрезвычайно важное явление, подтверждается рассмотрением того общеизвестного факта, что люди постоянно заставляют друг друга придерживаться соглашений, условия которых они никогда не обсуждали. Это упускаемое свойство общих пониманий ведет к далеко идущим последствиям, когда явно применяется для описания природы подобных «соглашений».

По-видимому, как бы ни были конкретны условия общего понимания — их прототипом может считаться контракт, — они имеют для людей статус соглашения лишь постольку, поскольку сформулированные условия влекут за собой хоть и невысказанное, но совместно понимаемое условие *et cetera*¹². Все конкретные соглашения формулируются под управлением общего соглашения, подпадая под юрисдикцию условия *et cetera*. Это происходит не раз и навсегда, а существенно связано с течением внутренних и внешних событий во времени и, тем самым, с последовательным развитием обстоятельств и их непредвиденными изменениями. А следовательно, было бы и неверно, и неконструктивно считать подобное соглашение своего рода страховкой, обеспечивающей людям способность в любой момент взаимодействия надежно предсказать будущие действия партнера. Точнее говоря, общее понимание, сформулированное по принципу соглашения, используется людьми для того, чтобы упорядочивать любые последствия своих реальных действий. Непредвиденные обстоятельства не просто случаются — люди всегда и везде знают, что непредвиденные обстоятельства могут появиться или быть придуманы в любой момент, когда приходится решать, соответствовали ли реальные действия сторон принятому соглашению. Условие *et cetera* обеспечивает уверенность человека в том, что неизвестные условия встречаются на каждом шагу и в любой момент могут потребовать от него ретроспективного возвращения к условиям соглашения, чтобы выяснить — в свете происходящих событий, в чем же «на самом деле» состояло это

¹² Условие *et cetera*, его свойства и последствия его использования были ведущими темами исследований и дискуссий среди участников конференций по этнометодологии, проходивших в Калифорнийском университете (Лос-Анжелес) и в университете Колорадо с февраля 1962 при финансовой поддержке Бюро научных исследований Вооруженных сил США. Участниками конференций были Эгон Биттнер, Гарольд Гарфинкель, Крэг Макэндрю, Эдвард Роуз и Харви Сакс. Результаты обсуждения условия *et cetera* участниками конференции можно посмотреть в: Egon Bittner, «Radicalism: A Study of the Sociology of Knowledge», *American Sociological Review*, 28 (December, 1963), 928-940; Harvey Sacks, «On Sociological Description», *Berkeley Journal of Sociology*, 8 (1963), 1-16; Harold Garfinkel, «A Conception and Some Experiments With Trust...» и гл. 1 и 3 в этой книге. Развернутые исследования процедур кодирования, методов допроса, работы юристов, перевода, конструирования моделей, исторической реконструкции, «социального учета», подсчетов и личностной диагностики содержатся в неопубликованных работах Биттнера, Гарфинкеля, Макэндрю, Роуза, и Сакса; в протоколах выступлений Биттнера, Гарфинкеля и Сакса по теме «Обоснованные расчеты» на 16-ой Ежегодной Конференции по Международным Делах в Университете Колорадо, апрель 11-12, 1963; и в протоколах Конференции.

соглашение «в первую очередь» и «всегда». Тот факт, что работа по приведению текущих обстоятельств под правила ранее оговоренной деятельности иногда приводит к неверным результатам, не должен закрывать от нас ее всепроникающий и рутинный характер как постоянное и существенное свойство «действий в соответствии с общим пониманием».

Этот процесс, который я назвал бы методом обнаружения соглашений посредством выявления или навязывания уважения к правилу практических обстоятельств, является одной из версий практической этики. И хотя он пока еще не привлек должного внимания исследователей в области социальных наук, он является предметом неизменной и общей заботы как в повседневных делах, так и в обыденных представлениях о них на уровне здравого смысла. Умелое и явное использование принципа *et cetera* для достижения успеха в конкретных обстоятельствах – профессиональное качество юристов, этому специально обучают студентов юридических вузов. Не следует, однако, считать, что, будучи профессиональным качеством юристов, оно только им и доступно, или что этим занимаются только те, кто делает это преднамеренно. Этот метод является общим для общества в целом как системы взаимодействий, управляемых правилами¹³. Он является одним из механизмов, посредством которого человек, с одной стороны, управляет своими потенциальными и реальными успехами, равно как и неожиданными удачами, а с другой – справляется с разочарованиями, фрустрациями и провалами (и те и другие неизбежно поджидают его в его попытках соблюдать подобные соглашения), сохраняя при этом ощущение разумности реальных социально организованных взаимодействий.

Частный, но точный пример существования этого явления был многократно получен в результате применения следующего приема: экспериментатор вовлекал людей в разговор, имея скрытый под верхней одеждой микрофон для записи происходящего на магнитную ленту. В процессе беседы экспериментатор неожиданно распахивал пиджак и показывал собеседнику передатчик со словами «Смотри-ка, что у меня есть». За первоначальной паузой почти всегда следовал вопрос: «Что ты собираешься с этим делать?» По мнению испытуемых, было нарушено их ожидание, что это разговор «между нами». Когда выяснилось, что беседа записывается, ситуация изменилась, это обстоятельство порождало новые возможности, которые оба участника затем попытались подвести под юрисдикцию соглашения, о котором они прежде не упоминали и которого фактически не существовало. Разговор, который, как теперь оказалось, был записан, приобретал тем самым совершенно иной и проблематичный характер, учитывая, что в дальнейшем он мог быть использован совершенно неизвестным образом. До этого считалось, таким образом, что условие конфиденциальности соблюдается автоматически.

Заключительные замечания

Я постарался показать, что интерес к природе, происхождению и распознаванию разумных, реалистичных и поддающихся анализу действий не является монополией философов и профессиональных социологов. Все члены общества естественно и по необходимости интересуются этими вещами и самими по себе, и в связи с социально регулируемым выполнением своих повседневных дел. Чтобы исследовать здравосмысленные представления и здравосмысленные действия, надо увидеть

¹³ Справедливость этого утверждения определяет программную задачу пересмотра проблемы общественного устройства в том виде, как она теперь формулируется в социологических теориях и критического обсуждения предпочитаемых в настоящее время ее решений. Ключевой точкой этого пересмотра является эмпирическая проблема выявления характерных свойств мышления по принципу *et cetera*.

проблему в тех способах, посредством которых все члены общества, на каком бы уровне они не занимались социологией – бытовом или профессиональном, – делают видимыми социальные структуры повседневных действий. «Переоткрытие» здравого смысла представляется, однако, возможным, поскольку профессиональные социологи, как и другие члены общества, просто привыкли уделять слишком много внимания здравосмысленным представлениям о социальных структурах в качестве темы и ресурсной базы своих исследований, недооценивая их роль как единственной и исключительной программной социологической тематики.

Перевод с английского Турчаниновой Ю.И., Гусинского Э.Н.

РЕЦЕНЗИИ

Романенко Л.М.

Специфика и перспективы современной российской экологической политики

Яницкий О.Н. «Россия: экологический вызов (общественные движения, наука, политика)» Новосибирск: Сибирский Хронограф, 2002. – 426 с.

Совершенно справедливо, что известная высота нравственного уровня необходима для социолога, как зрение необходимо для микроскописта, как слух составляет неизбежное условие для музыканта, а развитое эстетическое чувство – для каждого художника, поэта, литературного критика.

С.Н.Южаков

Современный этап реформирования российского общества является основополагающим для всей отечественной социальной системы, поскольку именно сегодня обозначается генеральный вектор ее судьбы, формируются базовые приоритеты ее дальнейшего функционирования. Слабая структурированность, «размытость» нынешних пространств России (властного, экономического, идеологического, культурного) усиливает роль социологии в определении социальной стратегии и тактики дальнейшего развития нашей страны, в более эффективном и менее болезненном переходе к демократии.

Вместе с тем в массовом общественном сознании российская социология прочно заняла место, которое при социализме монополюно удерживала философия марксизма-ленинизма: место квазинаучной доктрины, обслуживающей властный или олигархический заказ, способной обосновать «все и вся». Однако, несмотря на такую «теневую социологическую проекцию», представители серьезной академической и университетской социологии пытаются по мере возможности оказывать влияние как на развитие национального самосознания, так и на действия властных структур и большого бизнеса.

Пожалуй, наиболее ярко нравственная составляющая социологической науки выражена в направлении, занимающемся экологической проблематикой. Примером тому служит вышедшая в 2002 г. в серии «Российское общество: современные исследования» монография «Россия: экологический вызов (общественные движения, наука, политика)», принадлежащая перу известного социолога О.Н.Яницкого. В книге концептуально обобщена многолетняя работа автора по осмыслению содержания и эволюции основных акторов, специфики организационной институализации, идеологием

* Романенко Лариса Михайловна, ведущий научный сотрудник Института социологии РАН

© Романенко Лариса Михайловна, 2002 г.

© Центр Фундаментальной Социологии, 2002 г.

и мифологем, присущих процессу конституирования отечественного экологического движения с 1994 по 2000 гг. Масштабность поставленной задачи обусловила и комплексный, системный подход исследователя к объекту изучения, анализ большого массива эмпирических данных, вариативность используемых методов, включая и незаслуженно забытый метод построения хроник.

Сразу же отметим, что рецензируемая работа далека от «сухого», оторванного от реалий нашей повседневной жизни, теоретического изложения. В рамках предложенной теоретической модели автор рассматривает конкретные экологические проблемы, тщательно анализирует «болевые» вопросы состояния современного экологического движения в России, зоны «экологической напряженности» в отечественном политическом пространстве, дает довольно жесткие, часто не совпадающие с общепризнанными оценки деятельности различных экологических акторов. Поэтому монография вызовет, на наш взгляд, весьма неоднозначные мнения у читателей, особенно у тех, кто так или иначе связан с экологической теорией и практикой. Подобная дискуссионность – несомненное достоинство работы.

Итак, в центре внимания ученого – комплексный анализ политического измерения экологической подсистемы современного российского общества. Такая «теоретическая политизация» не случайна. С одной стороны, исследования О.Н.Яницкого находятся в русле мировых экологических изысканий. Еще в начале 90-х годов в западной социологии был зафиксирован генеральный вектор развития мирового экологического процесса, связанный с тем, что современная цивилизация превратилась в «общество риска», в котором «политическим» становится даже то, что ранее таким не считалось [1, р. 24]. А с другой, он успешно продолжает традиции отечественной социологической науки, придающей большое значение политической составляющей, «удельный вес» которой в различных сегментах российского социального пространства исторически всегда был весьма значителен. Достаточно вспомнить, что первые шаги экологического движения, получившие широкий резонанс в стране и ознаменовавшие собой появление на политической арене тогдашнего СССР нового политического актора, были осуществлены именно в политической плоскости. Это была борьба общественности против экологически опасных проектов тогдашней власти, вызвавшая, по меткому замечанию О.Н.Яницкого, «политическую мобилизацию гражданских инициатив» (с.31) и впервые создавшая в тоталитарной России возможности для широкого экологического дискурса.

Российская социальная экология – наука еще молодая, поэтому неслучаен интерес исследователей к созданию теоретического инструментария для адекватной интерпретации экологических субъектов, процессов и явлений. Общепризнанных теоретических и методологических стандартов в этой области пока не выработано. Споры идут по всем направлениям: даже по вопросу о содержательном наполнении такого ключевого термина, как «экологическая политика».

Показательными в этом плане являются приведенные в книге данные опроса представителей властных структур, научного сообщества и экоНПО. Одни респонденты отождествляют экологическую политику с нормальной «*процедурой принятия и исполнения решений*», другие выделяют ее в «*самостоятельную управленческую вертикаль*», для третьих она «*способ разрешения конфликтов* разного уровня». Последняя интерпретация оказалась гетерогенной: в ней проявились целых четыре варианта конфликтологического понимания экополитики: «*рецидивирующий*» – создание во властных органах специальных экологических структур для согласования интересов различных департаментов (сам термин, предложенный автором, представляется спорным); «*ситуационный*», заключающийся в реагировании на возникающие экологические вызовы и угрозы; «*политический*», понимающий

экополитику как борьбу различных политических сил, и *экологический*, для которого экополитика состоит в реализации собственно экологических критериев (с. 130–133).

Ситуация «понятийной неопределенности», будучи естественной для становления любой науки, продуцирует ученых, работающих в парадигме социальной экологии, на поиск и формулирование собственных дефиниций экополитики. Создается спектр категорий, из которых затем будут выбраны общепризнанные. Плодотворной является, на наш взгляд, дефиниция экологической политики, предложенная О.Н.Яницким, которую он определяет как «научно-обоснованную политику, направленную на сохранение и воспроизводство здоровой и безопасной среды обитания, на разрешение социально-экологических конфликтов путем постепенной экологической модернизации всех сфер жизнедеятельности общества, начиная от трансформации базовой системы его ценностей, соблюдения гражданских прав и свобод и до перестройки промышленного производства на основе расширяющегося использования природосберегающих технологий» (с. 30).

Анализируя эволюцию российского экологического движения, автор приходит к выводу, что, сохраняя свою гражданскую сущность (субъекты и структуры движения продолжают оставаться субъектами и структурами национального гражданского общества), оно, тем не менее, существенно изменило формы своей социальной и политической актуализации. По мнению Яницкого, российское экологическое движение необходимо сегодня рассматривать как «специфический (сетевой) социальный организм, способный устойчиво воспроизводить себя во времени и пространстве» (с. 97). При этом «сетевой социальный субъект – это пространственно дисперсный коллективный актор, элементы которого интегрируются и воспроизводятся посредством общих ценностей и целей, коммуникационных и других ресурсных сетей» (там же).

В отказе от рассмотрения экополитики как «вертикальной» деятельности экологов, направленной на выработку и принятие властью необходимых управленческих решений, в пользу «горизонтальной», т.е. сетевой ее трактовки, и заключается, пожалуй, основной теоретический пафос рецензируемой монографии. Тем самым в экологическом плане удается предвосхитить тенденции, которые появились в политическом поле России совсем недавно и заметно повлияли на его конфигурацию: усиление «властной вертикали» привело к интенсификации поисков учеными, политиками, общественными деятелями путей создания уравновешивающей эту вертикаль «гражданской горизонтали».

При таком подходе экологическое движение рассматривается как «погруженный» в специфический контекст субъект, причем основной акцент делается именно на взаимодействии субъекта со средой, понимаемой как активное, деятельностное начало, состоящее из «многообразия контекстов – локальных и глобальных, дружеских и враждебных, ресурсообеспечивающих и ресурсопоглощающих» (с. 97). «Сетевая экологическая эволюция» в значительной мере обусловлена разочарованием зеленых как в деятельности крупных политических партий и объединений, так и в политике российского государства, которая в последние годы отличается выраженной антиэкологической направленностью. Достаточно сказать, что в 2000 г. упразднен Государственный комитет РФ по охране окружающей среды (его функции переданы Министерству природных ресурсов), а в отечественных вузах по решению Министерства образования РФ отменены программы по подготовке учителей по специальности «Экология».

Кстати, схожие тенденции в мотивационно-ценностной структуре экологического движения фиксируются сегодня социологическими исследованиями и на Украине. Согласно данным наших украинских коллег, «за

период 1995–2000 гг. фактически не изменилось общее количество украинских эконоНПО, имеющих средний уровень социально-политической активности (немногим более половины), однако уменьшилась доля политически вовлеченных и, наоборот, возросло количество политически индифферентных организаций «зеленых» [2, с. 47].

Российскому экологическому движению как коллективному социальному актору присущи, полагает О.Н.Яницкий, историческая эволюция; собственная «внутренняя логика» развития – логика самосохранения и саморазвития» (с. 99); использование в различных пропорциях как внешних, так и внутренних ресурсов («удельный вес» которых колеблется в зависимости от временного контекста); полифункциональность – например, ячейки этого сектора наряду с собственно экологическими функциями выполняют и «функцию адаптации своих членов к быстро изменяющемуся социальному и политическому контексту» (с. 126).

Если рассматривать российское экологическое движение как специфический сектор национального гражданского общества, то в методологическом плане это предполагает изучение его в двух взаимосвязанных измерениях: «горизонтальном» (взаимодействие его акторов со структурами и субъектами мирового гражданского общества – в данном случае с зарубежными экологическими организациями) и «вертикальном» (взаимодействие с национальными властными структурами).

Первое измерение анализируется автором с позиций «вестернизации», понимаемой как многомерный социальный феномен, включающий в себя не только идеологию и систему западных ценностей, но и комплекс конкретных мер по перестройке отечественных эконоНПО и их деятельности «по западным стандартам» (с. 300, 311). Оценивая «плюсы» и «минусы» вестернизации российского экологического пространства, О.Н.Яницкий приходит к крайне неутешительным выводам.

Позитивный вклад международного сообщества в развитие отечественного экологического сообщества («подпитка» деньгами, оборудованием, социальными и менеджерскими технологиями) несравним, как считает автор, с огромными отрицательными социальными последствиями этой помощи. Потеря независимости российских зеленых, утрата ими «перспективы, а может быть и смысла жизни» (с. 303); «распад некогда единого экологического движения на множество относительно автономных образований – эконоНПО, внутри которых существуют еще более дробные ячейки – проекты» (с. 314); замена экологической стратегии на узкие, «частичные» тактические цели собственного комфортного выживания; жесткость, «антидиалогичность» мышления активистов; замена альтруистических и гражданских ценностей экологического движения на рыночный прагматизм и корпоративизм и др. – такова, по мнению ученого, несоизмеримо высокая социальная цена, которую платит Россия за западную помощь.

Столь «разгромная критика» имеет право на существование, тем более что сам О.Н.Яницкий долго и плодотворно сотрудничал с зарубежными коллегами по экологической проблематике (о чем свидетельствует значительная часть представленного в рецензируемой монографии материала) и знает ситуацию «изнутри».

Безусловно, необходим более взвешенный, более продуманный подход к вопросам об объемах и качестве зарубежной помощи; о приемлемости условий, на которых она оказывается; о содержательной стороне информации, сбор и анализ которой заказывается международными экологическими организациями и т.п. С этим не поспоришь. Однако более или менее корректно воспринимать столь негативную оценку западного влияния на российских экологов можно, как нам представляется, лишь с учетом тенденций функционирования национального общественного сознания.

Такая оценка должна трактоваться как своего рода «противовес» преобладавшему до недавнего времени некритическому заимствованию всего западного.

В политическом же контексте такая негативная генерализация спорна и неоднозначна хотя бы потому, что, будучи истолкована в терминах теории принятия решений, она фактически «закрывает» с таким трудом завоеванную возможность «горизонтального», «сетевое» сотрудничества российских экологов с международным сообществом в рамках гражданских инициатив. Тем самым не только осложняется процесс конституирования национального гражданского общества, но и ставится под вопрос само существование экологического движения в России. Его выживание в нынешних условиях вряд ли можно представить без ресурсного обеспечения зарубежных доноров и спонсоров, для которых вклад в развитие экологической подсистемы России – не столько идеология, сколько реальное «экологическое страхование» своего собственного будущего.

Исследование второго – «вертикального» – измерения, в котором разворачиваются процессы взаимодействия экологов с властными структурами как в теоретической плоскости, так и при анализе конкретных путей разрешения типичных социально-экологических конфликтов, приводит О.Н.Яницкого к выводу, что современная политическая практика в экологической сфере теряет свой «вертикальный» (иерархический, директивный) характер и становится все более «горизонтальной», трансформируясь соответственно изменениям экологического движения, заключающимся в превращении его в «в совокупность коллективных сетевых акторов» (с. 128).

По этому поводу хотелось бы высказать следующие соображения. Если мы внимательно проанализируем конфигурацию современного политического пространства России, то единственными реальными макроигроками на этом пространстве окажутся власть и бизнес. Экологическое же движение, хотя и имеет неплохие количественные показатели, не может пока оцениваться как макросубъект, поскольку его влияние на социальное пространство в целом тождественно весьма невысокому влиянию других структур гражданского общества.

Небольшой «социальный вес» не позволяет российским экологам вести переговоры с отечественными властью или бизнесом «на равных». Более того, если в демократических обществах экологи и власти совместными усилиями корректируют действия бизнес-структур, то в нашей стране сообща действуют зачастую бизнес и власть. В таких условиях шансы на то, что экологи будут услышаны, а их рекомендации будут воплощены в жизнь, весьма малы.

Поэтому для принятия того или иного конкретного экологически обоснованного решения, экологам необходимо увеличить свой социальный вес: либо «перетянуть» на свою сторону власть, либо ввести в поле конфликта еще одного участника, который как и два первых игрока, обладал бы макросоциальными показателями, но «играл бы» на стороне экологов. Таким «социальным» игроком является мировое сообщество, с мнением которого, выражаемого международными экологическими организациями, власть и бизнес в России вынуждены считаться.

В сложившейся ситуации реальные результаты достижимы лишь с использованием административного ресурса. Поэтому, по нашему мнению, современная российская экологическая политика должна представлять собой сбалансированные в единый процесс «горизонтальную» деятельность экологических сетей и «вертикальную» административную деятельность. Сужение же «объема участия» последней в экологическом движении не усилит его демократизацию, а, скорее, ослабит социальные позиции.

В заключение отметим, что рамки рецензии не позволили нам рассмотреть другие интересные идеи и наработки автора. Это, например, теоретическая трактовка современной России как «общества всеобщего риска»; анализ особенностей выработки и потребления отечественного экологического знания; исследования положительных и отрицательных факторов, формирующих институт российских экспертов-экологов; гипотеза о трансформируемости (конвертируемости) ресурсов экологических акторов и др. Хочется надеяться, что монография О.Н.Яницкого будет иметь серьезный научный резонанс и привлечет внимание широкой общественности к острым экологическим проблемам России.

Литература

1. *Beck, U.* Risk Society: Toward a New Modernity. London: SAGE, 1992.
2. *Стегний А.* Экологическое движение как фактор институционализации экологических интересов // Россия: Центр и регионы. Вып.8., Ч. II. М., 2002.

Филиппов А.Ф.

Pierre Bourdieu. Le sens pratique. P.: Minuit, 1980. – 475 P. /

Пьер Бурдьё. Практический смысл / Перевод с французского / Общая редакция перевода и послесловие Н. А. Шматко. СПб.: Алетейя; М.: Институт экспериментальной социологии. 2001, 562 С.

Появление перевода одной из самых знаменитых книг Пьера Бурдьё – событие долгожданное и очень важное. Монументальный труд вышел в свет на языке оригинала впервые в 1980 г., почти точно в середине академического пути автора и всего через год после публикации столь же фундаментального «Различения»¹. Две эти книги образуют ядро зрелой мысли Бурдьё и, конечно, лучше всего было бы издать их и на русском языке если не одновременно, то хотя бы без большого перерыва. Будем надеяться, что так оно и получится. Книга выпущена в свет в серии *Gallicinium*, в одном из самых известных в гуманитарной среде издательств. Перевод выполнен коллективом переводчиков, имена которых, в основном, также хорошо знакомы читателям переводной французской литературы по философии и социологии. Редактор книги Н. А. Шматко написала обстоятельное послесловие «На пути к практической теории практики», в котором представлены основные вехи научной биографии Бурдьё, рассмотрены важные теоретические проблемы его концепции, а также содержатся скупые, но ценные сведения, почерпнутые из личного знакомства с видным социологом, влияние которого на современную социальную науку сопоставимо, по мысли Н. А. Шматко (присоединяющейся здесь к мнению некоторых французских авторов), с влиянием К. Маркса на науку его времени (с. 561).

К сожалению, как всякий перевод классической книги, этот пришел к нам слишком поздно. Многие понятия и ходы мысли Бурдьё уже стали общим достоянием. О «полях», «габитусе», «капитале» говорят у нас охотно и повсеместно. Но, может быть, именно поэтому так важно, наконец, обратиться к первоисточнику. Ведь, в отличие от других переводов Бурдьё (а его работы выходят по-русски уже больше десяти лет), здесь мы имеем дело с полноценным обширным трудом, где детальные теоретические разработки органически связаны с объемным материалом полевых исследований. Все сильные – но и все слабые – стороны его концепции здесь на виду.

Самым сжатым образом попробуем уловить ключевую идею Бурдьё. Действия людей, которые изучает социальный ученый, возможно правильно объяснить, если их понять. Но действия – это практические действия, и понимание действий – понимание их *практического смысла*. Практический смысл – это не идея, не ценность, вообще не убеждение и не знание, хотя бы даже (в

* Филиппов Александр Фридрихович – кандидат социологических наук, ведущий сотрудник института социологии РАН

© Филиппов Александр Фридрихович, 2002 г.

© Центр Фундаментальной Социологии, 2002 г.

¹ См.: Bourdieu P. La Distinction. Critique sociale du jugement. P.: Minuit, 1979.

феноменологическом смысле) дорефлексивное. Это – «схемы восприятия и действия». Схема имеет собственную логику, но «реально овладеть этой логикой может лишь тот, кем она полностью овладела; тот, кто ею обладает, но в такой степени, в какой она сама владеет им, т.е. лишенный владения. И если это так, то потому, что схемы восприятия, оценки и действия не могут быть усвоены иначе, как на практике, они являются условием всякой *разумной* мысли или практики, но постоянно подкрепляясь действиями и речами, произведенными согласно таким же схемам, они исключаются из круга осмысляемых предметов» (с. 32). Пожалуй, эту важную мысль стоит прояснить дополнительно, обратившись к оригиналу (р.29). Здесь присутствуют слова *maîtrise* (одно из значений: «освоение», «овладение»), *maîtrisé* (причастие от *maîtriser* – овладевать», «осваивать»), а также третье лицо единственного числа и причастие от *posséder* («владеть», «обладать», а также «знать в совершенстве») и причастие от *deposséder* («лишать собственности», «экспроприировать»). Выбор терминов обнаруживает необыкновенную тонкость, передать которую на русском языке (надо отдать им должное) всеми силами стремились переводчики. Владение мастера перекликается здесь с владением собственника, и совершенное владение-овладение оборачивается совершенной подчиненностью и обездоленностью. Обладание предполагает дистанцию, степень обладания обратно пропорциональна величине дистанции, отсутствие дистанции уравнивает обладание, обладаемость (невозможный по-русски пассивный залог) и, значит, экспроприацию владения. «Собственность присваивает собственника», говорит Бурдьё, несколько перефразируя Маркса (с. 111). Знание как собственность, точнее, капитал в его особом виде оказывается одной из стратегических идей всей книги. Полноценное знание – это вовсе не знание «объективного наблюдателя», который свел воедино различные моменты практического совершения действия, но знание самого практика, в его перспективе и в его ситуации. И это знание может быть и техническим навыком, и знанием правил игры в определенном поле.

Строго говоря, во всем этом рассуждении не было бы ничего нового, если бы не дополнительные обстоятельства. Прежде всего, отсюда следует специфическое понимание задач социолога. «Наивный» социолог – это совсем не тот, кто, что называется, «верит на слово» опрошенным. Напротив, он наивен тогда, когда принимает за истинную свою точку зрения стороннего наблюдателя. Как говорит Бурдьё, «платой за триумф теоретического разума является неспособность преодолеть (с самого начала) простую констатацию дуализма путей познания: пути кажимости и пути истины, доксы и эпистемы, здравого смысла и науки, и невозможность завоевать для науки истину того, в оппозиции чему она утверждалась» (с. 70-71). Иначе говоря, у практического действия – своя истина, и было бы совершенно неправильно предполагать, будто эта последняя – только нечто несовершенное по сравнению с теорией, нечто такое, что только ждет научного прояснения, будучи вполне готово к нему по своей природе. Здесь важно иметь в виду, говорит Бурдьё, коварную двусмысленность социологических терминов, подобно тому, как систематически двусмысленными (а вовсе не «двойственными», в терминологии переводчиков) называют некоторые понятия лингвисты: «Таким же образом и понятие *правила*, которое может в равной мере навести на мысль об имманентной регулярности практик (например, статистической корреляции), о *конструируемой* наукой *модели* объяснения оснований действия, или о сознательно устанавливаемой или соблюдаемой агентами *норме*, позволяет фиктивно примирить взаимоисключающие теории

действия» (р. 64)². Научные соображения, будь то соображения научной логической связности или соображения научно сконструированной регулярности, нельзя смешивать и нельзя ставить *над* тем, что подлинно важно для действующих («агентов», как называет их Бурдьё) в их практической деятельности. И отсюда следует не только необходимость «объективировать объективацию», т.е. сделать саму отстраненную логическую позицию ученого предметом объективного рассмотрения³. Отсюда также следуют взаимосвязанные установки на *практическое участие* в социальной жизни и на *социальную критику*, в том числе, – критику позиции отстраненного объективного ученого. «Такая точка зрения свойственна тому, кто занимает достаточно высокую позицию в социальной структуре; социальный мир видится оттуда как представление (не только в смысле идеалистической философии, но и в смысле живописи или театра), а практики – только как театральные роли, исполнение партий или реализация планов» (с. 100).

В противовес этому *теория* практики подается как *практика*. Это значит, что «предметы познания должны быть сконструированы, а не просто пассивным образом зарегистрированы», и при этом «принципом такого построения является

² К сожалению, здесь обращение к оригиналу и новый перевод соответствующего фрагмента (см. с. 73-74) оказались неизбежны. Помимо ошибки в передаче грамматической конструкции, переводчиков подвело недостаточное владение терминологическим аппаратом социологии. «Régularité», в отличие от того, что мы читаем в русском переводе, – это не «закономерность», как выражение собственно «закона», но именно «регулярность», правильность появления некоторых событий, к наблюдению которой призывал свести позитивную науку О. Конт. Это слово в оригинале перекликается с «règle» – «правило». Соответственно, «статистическая корреляция» – это один теоретический язык (который мы и находим у Бурдьё), а «статистическая закономерность» (как в рецензируемом переводе) – другой. Переводчики дают себе труд указать на возможную неоднозначность такого перевода лишь на с. 77. «Rendre raison» по-французски, действительно, значит «объяснить», точнее, «дать объяснение». Однако, всякий, кто знаком, прежде всего, с англо-американскими дискуссиями об объяснении действий, может предположить, что французское «raison» перекликается с английским «reason», то есть «основаниями», «соображениями», которые легли в основу действия, в отличие от его «причин» и, между прочим, «закономерностей». Недаром в этом контексте у Бурдьё столько ссылок на Витгенштейна. (Заметим, впрочем, что такое чтение не обязательно. Например, английский переводчик книги Бурдьё написал здесь просто «to account for it [action]», что опять-таки означает «объяснить», но не в смысле обнаружения причин или законов («explain»), а в смысле выставления доводов, оснований и проч. См.: Bourdieu P. The Logic of Practice / Transl. by Richard Nice. Cambridge, UK: Polity Press, 1990. p. 37. Куда удачнее был бы вариант, использованный в других местах. Например, см.: с. 174 / p. 150, – здесь тот же оборот переводится как «осмыслить», и это действительно удачный выбор). Кроме того, перевод в этом месте вообще просто ошибочен в смысле передачи основной конструкции. После упомянутой ссылки на лингвистов, Бурдьё продолжает: «C'est ainsi que la notion de *règle* qui peut évoquer indifféremment la régularité immanente aux pratiques (une corrélation statistique, par exemple), le *modèle construit* par la science pour en rendre raison ou la *norme* consciemment posée et respectée par les agents, permet de concilier fictivement des théories de l'action mutuellement exclusives». Переводчики истолковали это так, что «модель» и «норма» похожи на «понятие правила». Это, конечно, грубая ошибка. Но ей сопутствуют еще и стилистические ляпсусы. Что значит «понятие «правило», которое может индифферентно ссылаться на закономерность» или «позволяют условно примирить» (вместо «фиктивно примирить»), можно понять только при обращении к оригиналу. Заметим, что страница 74 русского перевода и несколько следующих вообще насыщены подобными шедеврами переводческого искусства: «Нужно также перечитать *то место* из второго издания «Элементарных структур родства», *где можно предположить* (!), что употребление лексики нормы, модели или правила представляет предмет особого контроля...»; «*Обоюдно* (!), система предписывающая...»; «...Значительный *прогресс* относительно мышления XIX в., каким его *показывал* (!), например, Спенсер...» и т.д. (курсив и восклицательные знаки добавлены рецензентом – А. Ф.). К сожалению, это не единственное такого рода место в книге, и мы еще вернемся к проблемам перевода ниже.

³ Конечно, не одного только ученого.

система структурированных и структурирующих диспозиций, формирующихся в практике и постоянно направленных на практические функции» (Там же). Такие «системы структурированных и структурирующих диспозиций» Бурдьё называет «габитусами» (с. 102), а диспозиции расшифровываются им далее как «когнитивные и мотивирующие структуры» (с. 103), не замечаемые как таковые самими агентами и исторически ставшие. Исторически ставшее обретает устойчивость в институтах, габитус позволяет «реактивировать» его. «Объективная гомогенизация статусов группы или класса, вытекающая из гомогенизации условий существования, позволяет объективно согласовывать практики без стратегического расчета и сознательного соотношения с нормами и делать их взаимно приспособленными при отсутствии какого-либо осознанного намерения и, *a fortiori*, какой-либо эксплицитной договоренности» (с. 114).

В общем, если освободить цитированные рассуждения от специфической полемики с французскими структуралистами, с сартровской версией экзистенциализма, а также с теориями рационально действующего индивида, наследующими теориям общественного договора (и позволяющими снова и снова вызывать их к жизни), то подлинно новым окажется, как ни странно, весьма немного, и прежде всего – сам термин «габитус», успешно приживающийся в языке социологической теории. Действительно, что правила-регулярности и правила-нормы суть не одно и то же, что постижение мира вплоть до самых фундаментальных начал (вроде «форм апперцепции») имеет социальное и историческое происхождение (желающие могут покопаться в генеалогии: от немецких романтиков, Гегеля, Маркса и Ницше до Г. Лукача, немецкой философской антропологии, где рождается понятие антропологического априори, или в сочинениях Дюркгейма и Мосса, начиная с их гениальной совместной работы о первобытных формах классификации, или – если нет охоты дышать пылью веков – М. Фуко с его «историческим априори», или, наоборот, ради продуктивного разнообразия, в сочинениях Юма или хотя бы Джеймса), что именно неосознаваемая готовность соглашаться или не соглашаться лежит в основе осознанного выбора (например, стратегий поведения), что (по словам Зиммеля) «человека познаваемого делают природа и история, но человек познающий делает природу и историю», наконец, что сходство условий существования делает сходными структуры восприятия и поведения членов классов и групп, а индивидуальные различия между ними отливаются в более тонкие различия тех же структур, – все это так или иначе было известно социологам. Но именно Бурдьё выстроил на этой основе столь мощный и последовательный аргумент, находящий свое основание (или, наоборот, подтверждение и завершение) в некотором нерелятивируемом основании: человеческом теле. Понимание другого как ментальная операция – да, это было известно, и это, мы видим, совсем не то, чего хочет Бурдьё. Но что «практическое верование» – не «состояние души», а «состояние тела» (с. 133) – это, пожалуй, один из самых решительных шагов теоретической мысли, какой был сделан в мировой социологии. Конечно, и здесь можно было бы вспомнить и о Дж. Г. Миде, и об А. Гелене, и о теории ритуала Дюркгейма, и о «техниках тела» Мосса, и, опять-таки, о Фуко. Но всем этим, как и многим другим авторам был, в общем, чужд либо классовый подход, либо этнологический интерес, либо стремление простроить анализ для всех уровней социального взаимодействия – от диадического до самого обширного (что, собственно, и отличает претенциозную социологическую теорию от всех частных результатов), либо, наконец, и то, и другое, и третье. Между тем, именно здесь у Бурдьё происходит

взаимозацепление главных моментов его аргументации. «Гимнастика тела» (его разнообразные движения), части тела, различия между мужским и женским телами, состояния тела, каковы усталость, сон, поглощение и переваривание пищи, рождение и смерть живого тела – все получает значение в схемах, столь же фундаментальных, сколь и ситуационно зависимых. Практическая логика – это «логика в себе», и она не учит правильно ставить вопросы и давать правильные ответы (ответы по правилам). Она, скорее, исключает самую возможность сделать что-то предметом вопрошания, канализирует активность в русло эффективного достижения того, что даже и целью называть не стоит, ибо цель, как и схема, в своей объектированной представленности не дана тому, кто практически действует. Получается так, что здесь нет автоматической реализации схемы в поведении, потому что поведение – это всегда учет бесконечно изменчивых реальных ситуаций, в том числе и поведения других партнеров. Но нет и той свободы, которую могло бы дать несколько более дистанцированное отношение к схеме.

Вообще, у Бурдьё, как нам кажется, здесь нет полной ясности, и как раз в месте «основного зацепления» аргумент начинает давать сбои. Очевидно, что отношение к схеме можно расположить, так сказать, между двух полюсов: на одном полное овладение (и полное ей подчинение), на другом – полная объективация (и, судя по всему, практическая непригодность). Но как быть с промежуточными ситуациями, когда схема еще не отброшена, но уже проблематизирована как таковая? О том, что возможно частичное и даже полное расхождение между «габитусом» и «полем», говорит сам Бурдьё⁴. А если поставить вопрос не так, что объективные социальные отношения меняются при неизменных ментальных структурах, а ментальные структуры меняются при неизменных или более устойчивых социальных отношениях? – С чего бы им меняться? – Да хотя бы под влиянием просветительской деятельности самого Бурдьё и его школы!

Этот момент необходимо уточнить. Глава седьмая первой части «Практического смысла» посвящена понятию символического капитала. Как и всю книгу, в особенности ее первую часть «Критика теоретического разума», эту главу пронизывает полемика с рационалистическим и интеллектуалистским способом объяснения в социологии. Интересы, говорит Бурдьё, – это не обязательно рационально осознаваемые и формулируемые интересы современного капиталистического рыночного хозяйства. Возможна совсем другая экономика, расчеты в которой ведутся применительно к чести, престижу, добросовестности и т.п. Такая экономика, продолжает Бурдьё, в свою очередь отказывается признавать «голый интерес» и «эгоистический расчет» капиталистической экономики. Мало того, в ней и сам «экономический» капитал может действовать лишь постольку, поскольку добывается своего признания ценой преобразования, делая неузнаваемым настоящий принцип его функционирования», такой – признанный в качестве легитимного, но отрицаемый в смысле принципа своего функционирования – капитал есть *символический капитал* (см.: С. 230). В этом объяснении что-то не ладится. С одной стороны, вроде бы, все правильно: чтобы

⁴ См., например, популярное изложение в кн.: Bourdieu P. and Wacquant L. J. D. An Invitation to Reflexive Sociology. Cambridge: Polity Press, 1992. P. 132. Здесь речь идет о том, что при быстрых социальных переменах устаревают ментальные структуры, сформировавшиеся в предшествующую эпоху. Бурдьё снова возвращается к этой теме и в одном из поздних (1997 г.) своих сочинений – «Паскалианских размышлениях». См.: Bourdieu P. Pascalian Meditations / Translated by Richard Nice. Cambridge: Polity, 2000. P. 161.

понять, как на самом деле действуют крестьяне в рамках архаической экономики, надо отказаться от экономического «этноцентризма» (с. 221), т.е. от представления об экономической выгоде, характерного для современных теоретиков капиталистического хозяйства. То, что представляется им совершенно иррациональным, на самом деле хорошо обосновано. Действительно, приводимые Бурдые примеры очень показательны: часто бывает так, что выгоднее действовать во имя, например, «чести семьи», чем ради чистой корысти как таковой. С другой стороны эти же примеры показательны в противоположном отношении. Что доказывает нам Бурдые? Что в определенных условиях с человеком, который, например, будет заботиться о корысти и не будет заботиться о чести, никто не захочет иметь дел. И, таким образом, он свою корысть упустит! И кто же тогда действительно выиграл? На этот счет Бурдые не оставляет никаких сомнений: выиграл тот, кто думал о чести, причем выиграл не только в смысле чести, но и в смысле соблюдения тех интересов, которые связаны опять-таки с некоторой *выгодой*. И понятно, что интересы такого рода тоже «жизненно важны»: хорошо сыграть свадьбу не менее важно (для приумножения символического капитала), чем обеспечить права наследования (для приумножения капитала в более привычном смысле слова). Такого рода *диспозиции* внушаются с самого раннего детства, и действия в соответствии с ними порождают тот самый «космос», в гармонии с которым пребывают «агенты», не осознающие иллюзорности своих интересов и полагающие, будто «ценность ... [этих] благ заложена в самой природе вещей, а заинтересованность в этих благах – в самой природе людей» (с. 237).

Теперь мы видим, *что* здесь не сходится. До тех пор, пока речь шла только о том, чтобы подтвердить *эффективность* доводов и рассуждений крестьян, Бурдые был, так сказать, на их стороне и против социальной и экономической науки, объявляющей этих крестьян «отсталыми» и «архаичными». Но как только речь зашла об интерпретации собственно содержания «диспозиций», он в лучших традициях той самой науки объявил, что ценностные представления этих людей иллюзорны и, например, за идеей чести кроется жестко преследуемый корыстный интерес. Нельзя сказать, что такая просвещенческая, разоблачительская установка чужда духу социологии. Как раз наоборот. Мы помним, что говорил Маркс об идее, неизменно посрамлявшей себя при попытке отдалиться от интереса. Мы помним, что Макс Вебер, особенно в поздний период творчества, не уставал указывать на ключевую роль «грубых материальных интересов». Но только тут уж что-нибудь одно: либо стремление слиться с агентом, либо – довольно грубое, надо сказать, разоблачение корыстного интереса под покровом самоценной для него идеи чести.

Эта разоблачительская диспозиция автора полностью завладевает его текстом в главе о способах господства. Точно так же, как выгода кроется за идеями ценности, принуждение кроется за моральными обязательствами. «В чистом виде политическим состоянием является дело чести. Оно заставляет накапливать материальные богатства, которые не имеют оправдания «сами по себе», то есть в силу своей «экономической» или «технической» функции и, в предельном случае, могут быть совершенно бесполезны, подобно предметам обмена во многих архаических экономиках, но *годятся, чтобы выказывать власть, показывая ее* – «выставить напоказ» называет это Паскаль, – как капитал собственно символический, способствующий собственному воспроизводству, т.е.

воспроизводству и легитимации действующих иерархий» (р. 226)⁵. Здесь, как мы видим, то же самое: Бурдье считает возможным говорить о полезности или бесполезности вещей самих по себе, понимая под этим их экономические или технические функции. Но это – совершенно не оправданный перенос! Всякое «на самом деле» – это позиция современного человека, включенного в развитые товарно-денежные отношения, и «сами по себе» бесполезные вещи применительно к такому контексту – это совершенно бесполезная фикция.

Уточним еще раз основной пункт нашей критики. Нет никакого сомнения в том, что Бурдье совершенно правильно указывает на особую логику обращения и накопления тех благ, которые современному наблюдателю могут казаться бесполезными. Они бесполезны только с позиций узко понятой непосредственной выгоды, будь то выгода экономическая или, например, политическая. Тот, кто может распорядиться «правилами поля» (это в особенности важно, когда поля становятся относительно автономными), способен «сэкономить», говорит Бурдье, на стратегиях, которые должны были бы обеспечить непосредственную, личную зависимость одного человека от другого. «Речь идет именно об экономии, так как стратегии, преследующие цель устанавливать и поддерживать устойчивые отношения межличностной зависимости, обходятся ... чрезвычайно дорого, так что в итоге овчинка не стоит выделки и действия, потребные для упрочения власти, сами же способствуют ее расшатыванию. Чтобы получить право, приходится тратить силу, и порой значительная часть силы именно на это и уходит» (с. 259). Но откуда, собственно, взялась идея о «силе как таковой»? Есть социальные миры, говорит Бурдье, где приходится постоянно прилагать личные усилия для осуществления господства в ходе межличностных взаимодействий, а есть такие, где господство обусловлено «объективно институционализированными механизмами типа «саморегулирующегося рынка»...» (с. 257). С этим вряд ли стоит спорить. Вопрос, собственно, в другом. Подобно полезности как таковой, господство как таковое тоже представляет собой теоретическую фикцию. Его нет в случаях «мягкого принуждения», которые описывает Бурдье, т.е. тогда, когда речь идет о принуждении «доверием, обязательством, личной верностью, гостеприимством, дарением, долгом, признательностью, почтением – одним словом, всеми теми добродетелями, которые чтит мораль чести» (с. 250). Его нет и при «полной институционализации» со «строго установленными и юридически гарантированными отношениями между признанными позициями, определяемыми их *рангом* в относительно автономном пространстве позиций, существование которых отлично и независимо от тех, кто актуально или потенциально эти позиции занимает...» (р. 227)⁶. Но тогда позволительно будет спросить, почему истиной отношений столь многообразных, исторически и географически столь разнородных оказываются в конечном счете выгода и господство? Или еще точнее: почему одно только то обстоятельство, что создаваемые нами теоретические фикции оказываются столь полезными для выяснения

⁵ Ср. рецензируемый перевод, С. 258. Здесь нет грубых ошибок, лишь отдельные неточности (вроде того, что «дело чести» и «чувство чести» все-таки не одно и то же), однако, стилистически он испорчен странным выбором едва ли употребительного слова «казовый» для передачи французского «la montre». Для передачи игры слов «demonstration – monstration – montre» хватает, кажется, и более привычных слов. Впрочем, это дело вкуса.

⁶ Ср. в рецензируемом переводе С. 260. Исправления коснулись прежде всего понятия «position», которое не совсем удачно передается здесь как «социальное положение», редуцированы поясняющие вставки переводчика, а также внесены некоторые уточняющие изменения.

определенных аспектов тех или иных отношений, становится достаточным для интерпретации отношений *in toto* с точки зрения этих особых аспектов? Этот порок рассуждений Бурдьё очень ясно виден в его замечании о понятии харизмы. Символический капитал в некотором роде то же, что харизма, говорит он, только Вебер не понял, что харизма – не частная форма власти, а «особое измерение всякой власти, т.е. синоним легитимности как продукта признания и неузнавания, веры, «благодаря которой люди, отправляющие власть, наделены престижем»» (с. 279/ р. 243⁷). Точно так же, наверное, добавил бы он, и Зиммель (если бы только правила «французской поля науки» требовали ссылок на Зиммеля) «не понял», что «верность» и «благодарность», на коих в некотором роде держится социальность⁸, «на самом деле» прикрывают власть и выгоду.

На самом деле все, конечно, намного сложнее. Тот динамический баланс социального мира, в основе которого лежит борьба, это не *подлинная*, но лишь очень важная его сторона. Находим ли мы в верности господство или в господстве верность – это, в конце концов, зависит только от того, на что нацелен практический интерес исследователя.

Может быть, здесь не лишним будет привести одно довольно старое рассуждение: «Известно, что существует такая психология, которая объясняет великое мелкими причинами; исходя из верной догадки, что все то, за что человек борется, связано с его интересом, эта психология приходит к неверному заключению, что существуют только мелкие интересы, только интересы неизменного себялюбия. Известно также, что такого сорта психология и знание людей в особенности встречаются в *городах*, где считается признаком большой проницательности все видеть насквозь и за пронсящейся вереницей идей и фактов усматривать ничтожных, завистливых, интригующих людишек, которые, дергая за ниточки, приводят в движение весь мир. Но, с другой стороны, также известно, что если слишком глубоко заглядывают в кружку, то ударяются в нее *своей собственной головой*; в таком случае знание людей и света у этих мудрецов есть прежде всего – в мистифицированном виде – удар по собственной голове». Может быть, это рассуждение и не стоило столь пространного цитирования, если бы автором его не был столь авторитетный в данном контексте Карл Маркс⁹.

Конечно, цитаты, даже цитаты из Маркса, ничего не доказывают. Широкая популярность Бурдьё во всем мире, в том числе и среди наших гуманитариев, напротив, доказывает, что он добился своего: создал тот, выражаясь словами Рорти, «конечный словарь», который для многих, слишком многих, стал не только языком описаний, но и языком наблюдений. И все-таки, будем надеяться, критическое чувство еще не вовсе оставило читателя. Замечательная книга Бурдьё замечательна, между прочим, и тем, что равномерно показывает нам обе стороны его дарования. Одна сторона – это тонкий, чуткий, сочувствующий антрополог. Не просто антрополог-наблюдатель, но автор тонких рассуждений о телесных диспозициях, о габитусе и гомологии физического и социального пространств. Вся вторая часть книги, собственно посвященная «практическим логикам», читается на одном дыхании, и критический разбор ее был бы более уместен для специалиста-антрополога, чем для приверженца столь часто порицавшихся Бурдьё чистых логико-теоретических рассуждений. Но другая сторона, та, разбору

⁷ Перевод слегка исправлен за счет добавления важного слова «продукт».

⁸ Мы имеем в виду известный экскурс Зиммеля «О верности и благодарности» из большой «Социологии».

⁹ Марк К. Дебаты о свободе печати // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, 2-е изд. Т. 1. М.: Госполитиздат, 1955. С. 72.

которой мы прежде всего уделили внимание, не просто представляет некоторую спорную позицию. Главная беда в том, что эта позиция очень плохо связана с антропологическими изысканиями Бурдьё. Чтобы не множить примеры, укажем только на то, что понятие габитуса, которое вводится, как мы видели, применительно к «гимнастике тела», затем чрезмерно расширяется, оказываясь некоторой размытой склонностью к повторению навязанных и усвоенных действий – точно так же, как до полной потери *differentia specifica* расширяется понятие капитала. Впрочем, то, что на разного рода мудреных рассуждениях удается выстроить сравнительно простые и легко усвояемые схемы, косвенно доказывает если не теоретическую, то практическую правоту Бурдьё: он стал авторитетом, он сумел добиться влиятельного и признанного положения в *поле науки*, он внедрил определенные диспозиции сонму учеников и последователей. Может статься – не нам судить – они выражались и в своеобразной гимнастике тела. Вряд ли стоит здесь говорить о достоинстве истины или истине достоинства. Но в борьбе за власть он вышел безусловным победителем.

Вкратце остановимся на качестве перевода. В целом перевод надо считать удачным. Тем не менее, он несколько неровен, а местами производит странное впечатление. Достоинства перевода не стоит преуменьшать. Эта работа была трудной, а результат оказался уникальным. Для сравнения укажем, что английский перевод Ричарда Найса, на который мы ссылались выше, имеет в сравнении с рецензируемым один существенный недостаток: текст Бурдьё сокращен, причем сокращения никак не обозначены и в ряде случаев касаются весьма важных мест. Русский перевод – полный. К сожалению, мы не могли сравнить его с переводом, скажем, на немецкий язык, но в любом случае – это редкое и ценное достижение.

Небольшие странности перевода обусловлены, как нам думается, тем, что четыре переводчика на одну книгу – это явно слишком много. Несмотря на все усилия редактора, привести к общему знаменателю терминологию и унифицировать переводы устойчивых выражений очень трудно. Жаль, что не указаны переводчики отдельных глав. На вопрос «кто шил пиджак?» коллектив дружно ответит «мы». Вот пусть это коллективное «мы» и расплачивается за нижеследующее.

Внимательно прочитайте следующий фрагмент:

«В действительности насколько видимость абсурдности или бессвязности защищает мифы и ритуалы от реляционной интерпретации, настолько же то, что они порой дают видимость смысла при частичном и избирательном чтении, которое ищет смысла в каждом отдельном элементе особого откровения вместо того, чтобы установить систематическое отношение со всеми элементами одного класса» (с. 13). Мысль о том, что здесь по недосмотру наборщика опущена часть фразы, придется оставить. Это просто неспособность перевести определенную синтаксическую конструкцию. Чуть более точный перевод мог бы звучать так: «В самом деле, не только видимость абсурдности и бессвязности защищает миф или ритуалы от реляционных интерпретаций, но также и то, что порой они имеют видимость смысла для отдельных и избирательных исследований...» и т.д. Тут же нас предостерегают от того, чтобы «экономить на долгом обходе через полную систему обозначающих» (с. 13-14).

Гораздо хуже, впрочем, перл на с. 14, где говорится об антропологической интуиции «юнгеровского типа». Увы, немецкий писатель, политик и философ Эрнст Юнг здесь совершенно не при чем. Речь идет об интуиции «юнгианского

типа» («jungien»), т.е. о психологе Карле Густаве Юнге. Здесь же (с. 20-21) обнаруживается, что о P. Duhem переводчик не слышал ничего. Поэтому и передал его имя совершенно правильно, в соответствии с современной транскрипцией как «Дюэм». Но сочинения этого автора переводились в России еще в начале прошлого века, когда правила были другие. Так что теперь он для нас (особенно для тех, кто захочет найти в библиотеках указанные переводы) – П. Дюгем. Другая неполадка с известным именем – на С. 90-91. Джон Элстер на самом деле Юн Элстер (или Эльстер, как еще иногда у нас пишут).

На с. 103 Веберовское понятие «absolute Möglichkeit» почему-то переводится как «абсолютная вероятность», хотя это «абсолютная возможность». Досократики на С. 189, сноски превратились в «пресократиков». При том значении, которое Бурдьё придает понятию «легитимность», нельзя было переводить «легитимное насилие» как «законное насилие» (с. 215), тем более, что это вообще термин Вебера, и в данном контексте имелась в виду Веберовская дефиниция государства.

На с. 257 и далее обнаруживаются неполадки с латинским термином «непрерывное творение» (*creatio continua*). Не опознав его во французском переложении, переводчики говорят о «продолжающемся творении», что неправильно.

Как видим, даже с учетом тех замечаний и правок, которые мы предприняли в тексте рецензии, крупных провалов, в общем, не так уж много на такой огромный текст. И все-таки некоторое беспокойство сохраняется. Мы не проводили сверку текста, важные замечания и поправки появлялись тогда, когда для целей изложения нам требовался максимально точный перевод. И если такие главы первой части, как 3, 4, 5, почти не вызывают возражений, то главы 7 и 8 (не говоря уже о введении) переведены явно хуже.

Будем надеяться, что у книги сложится хорошая судьба, она быстро разойдется в книжных магазинах, потребует переиздание, и оно будет еще более доброкачественным.

Ашкеров А. Ю.

Метаистория метаистории, или Декодирование Хейдена Уайта

Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2002. – 527 с.

Книга известного американского ученого, специалиста в области истории сознания Хейдена Уайта «Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века» вышла в свет на Западе еще в 1973 г. У нас она стала достоянием читательской аудитории лишь в 2002¹. Сам Уайт в предисловии к русскому изданию называет период, в который рождалась «Метаистория», *структуралистским*, и констатирует, что сейчас, спустя почти 30 лет, написал бы свою книгу иначе.

Актуальное/не актуальное?

Возможные различия между изданной в 1973 г. книгой и нынешним представлением ее автора о проекте метаистории определяют дистанцию – в равной степени интеллектуальную и историческую – которая пролегает между нашим временем и той, не столь уж недавней, эпохой. «Эпоха структурализма», – а структурализм действительно был эпохой (не исключено, последней) – может считаться завершившейся лишь в той мере, в какой данное течение окончательно утратило концептуальную и институциональную целостность. В этом смысле выход в свет «Метаистории» на русском языке выглядит чрезмерно запоздалым событием, пережившим собственную актуальность и требующим не столько вдумчивого комментария, сколько прочувствованного некролога.

Однако закат структурализма – это не преодоление некоего отчетливого рубежа. Явление, которое в самом широком смысле слова может быть определено как «постструктурализм», упразднило эпохальность мышления и вместе с тем обозначило пролонгированную невозможность наступления какой-либо «новой эпохи». (Особая «постструктуралистская» диалектика как раз и заключается в подобном понимании упразднения, – не как одномоментной процедуры, отражающей суть самой исторической изменчивости, а как пролонгации, лишаящей изменения истории, а историю – изменений.) Парадоксальность противопоставления «эпохальности» (обратившейся в *retro-style*) и времени (берущего начало ныне лишь из без-времени), напротив, может сделать издание книги Уайта в России более важным событием, нежели публикация первоисточника. Причина проста, но также не лишена

* © Ашкеров Андрей Юрьевич, 2002 г.

© Центр Фундаментальной Социологии, 2002 г.

¹ Отечественному читателю Уайт был известен в основном по переводу его рецензии на книгу Мишеля Фуко «Слова и вещи». Рецензия имела симптоматичное название, перекликающееся с названием данной работы): «Декодированный Фуко: заметки из подполья» [1].

парадоксальности: на примере судьбы данной книги можно прояснить видоизменение статуса интеллектуальной истории, выходящей за пределы эпохальных идей и учений. Такого рода «обновление» отмечено особой радикальностью: оно не просто актуально, но призвано определить характер актуальности, обращая нас к вопросу о том, что являет собой историческое становление.

По отношению к «мета»-историографическому проекту необходима артикуляция особой историографии исторических поэтик, своеобразной метаистории метаисториков, показывающей степень зависимости определенных форм познавательной деятельности историка от столь же определенных метаисторических конструкций. Подобная метаистория метаистории не простое удвоение, ведущее к бесконечной регрессии, но попытка обнаружить Иное метаистории в сопоставлении, а точнее, в столкновении *различных* модусов неустранимой тропологизации исторического познания или, другими словами, различных исторических «риторик». Это переводит вопрос об исторической тропологии из режима обсуждения ее априорности в режим выявления сопряженного с ней стратегического выбора.

Неизбежная двойственность в интерпретации значения книги Уайта оборачивается, как видно из вышесказанного, более сложными вопросами, касающимися возможностей интерпретации не только ее концептуальных положений, но и уайтовского подхода к концептуализации. В то же время эти вопросы относятся к прояснению перспектив развития, интерпретации и усвоения метаистории (вовсе не просто как детища англосаксонского структурализма) в самой истории, прежде всего в истории мысли.

Современная форма актуальности с самого начала была устроена так, чтобы не вызывать у нас каких бы то ни было подозрений: наше современное, вечно подозревающее, «мы» целиком полагается в *актуальном*, которое возвещается, во-первых, как морально-эстетический императив, а, во-вторых, – как условие существования. Можем ли мы подтвердить актуальность Уайта, не уяснив, насколько его концепция предполагает забвение актуальности как проблемы, то есть заключает в себе пренебрежение к вопросу об историческом становлении? Можем ли мы подтвердить его неактуальность, если сейчас актуально само забвение, если, более того, именно забвение, адресованное в первую очередь к актуальности становления, и полагается в нашем «сейчас» как выражение самой Современности?

Лингвистический поворот в историческом познании

Конечно, именно структурализм сделал возможной ситуацию, когда становление явилось не-актуальным, а актуальное – не-становящимся («постструктурализм» лишь избавил данную ситуацию – равно как и соответствующую постановку вопроса – от «эпохальности»). Более того, структурализм и был олицетворением этой актуальности не-становления в современной мысли, последним образцом не-становящейся актуальности чистого рационализма целей.

«...натурализация целесообразности, – писал о структуралистской мысли один из наиболее проницательных ее критиков П. Бурдьё, – предполагающая забывание исторического действия и – при помощи понятия бессознательного – приводящая к введению исторических целей в тайны Природы, придала структурной антропологии вид самой естественной из всех общественных наук и самой научной из всех метафизик природы» [2, с.79].

Эпохальность структурализма была связана с особым отношением к времени, с трудом различимом в последовательности синхроний, затерянном в калейдоскопически меняющихся репрезентациях структур. Особенностью структуралистской мысли является то, что повествовательная интрига данного теоретического направления

приравнивается к формированию его как «объяснительной модели», история становления которой сводится лишь к тому, чтобы продемонстрировать собственное совпадение с репрезентирующими себя структурами. При этом если Ф. де Соссюр говорит о структурных качествах языка, увязывая их с его существованием в качестве социальной институции², то К. Леви-Строс, напротив, соединяет структурные качества (определенных) социальных отношений с основой своей организации – неким всеобщим символическим кодом, выступающим достоянием нашего бессознательного.

«Эпоха» в мысли меряется господством определенной картины мира, дарующей возможность особого (но неизменно претендующего на непосредственность) обращения к универсальному, к выражению универсалий в их неистощимой подлинности. Структуралистская картина мира стала одним из наиболее ярких свидетельств «лингвистического поворота» в гуманитарном знании, поставившего под вопрос прерогативы традиционной метафизики субъекта, воспринимающегося как творческое и творящее «начало». Символическое измерение человеческого существования было выведено за пределы порождающих способностей нашего сознания и (будучи помещенным на уровень человеческой телесности) рассмотрено в качестве системы, взаимно опосредующей идеи и факты (а также дающей возможность интерпретировать последние как знаки). «Лингвистический поворот» привел и к особой онтологизации языковых феноменов: в частности, именно миф (понятый как особая семиотическая структура) в рамках структурализма стал восприниматься в качестве инстанции исторического времени³.

Остановимся вначале подробнее на основополагающем структуралистском понимании мифа. Клод Леви-Строс определяет его как третью временную систему, отличную и от порядка синхронии и от порядка диахронии, более того, интегрирующую свойства обоих порядков. При этом миф «всегда относится к событиям прошлого: «до сотворения мира», или «в начале времен» – во всяком случае «давным-давно» ... значение мифа состоит в том, что эти события, имевшие место в определенный момент времени, существуют вне времени» [4, с. 186]. *Историческое время в понимании структурализма организуется как вневременной рассказ о прошлом, вместе с тем само прошлое становится рассказом о вневременности.*

История, понятая как текст (с рассмотрением которой связано историческое повествование самого структурализма), является историей, непосредственно конституированной в сопряженности с мифом, в буквальном смысле «мифологической» историей. Именно в рассказываемой истории, а не в стиле, в форме или синтаксисе, Леви-Строс видит «сущность» мифов. Сравнивая миф с языком, он исходит из того, что миф работает на том «самом высоком уровне, на котором смыслу удается ... отделиться от языковой основы, на которой он сложился» [4, с.187].

Сам структурализм изначально возникает как проект, нацеленный на осуществление собственного понимания истории. Иными словами, он рождается как интрига, стремясь развернуться как заранее готовое и в этом смысле а[на]хроническое повествование. Суть структуралистской интриги в том, чтобы предъявить не-становящуюся актуальность, именованной которой и выступает структура (структуры). *Именно так и возникает кредо структуралистского отношения к истории:*

² А. Мейе одним из первых подмечает близость понимания языка у Ф. де Соссюра с пониманием социального факта у Э. Дюркгейма. Дюркгейм исходит из того, что социальные факты являются внешними по отношению к индивидам. Соссюр то же самое утверждает по поводу языка, говоря, что последний – это социальная часть речевых практик, находящаяся «по ту сторону» индивидуального существования людей. (См. об этом подробнее в [3, с.158–166].

³ В постструктурализме такая инстанция оказалась утраченной, породив письмо, – починающее, по выражению Ж. Деррида, мысль резцом, – в качестве инстанции (вне?)историчности собственной утраты.

исторический процесс закрепощается в мифе. Нарушается сохранявшийся в течение многих столетий запрет Аристотеля на рассмотрение исторической событийности, *historia*, в качестве достояния *mithos*'а⁴. Повествование об истории неразрывно связывается отныне с развитием самой истории⁵. Теперь остается только сделать данную постановку вопроса достоянием исторической науки. Как нам представляется, Уайт вовсе не был первым, кто предпринял соответствующие усилия. Однако он явился первым профессиональным историком, сумевшим сделать эти усилия своим методологическим выбором. Подобный выбор был бы немислим без того влияния, которое оказали на формирование «метаисторического» подхода Ролана Барт и Мишеля Фуко.

Деятельность Барта – одного из непосредственных предшественников Уайта – воплощает собой своего рода лингвистический поворот в области истории культуры. Барт рассматривает культурные явления в контексте описания систем вторичных значений (коннотаций), образующих область того, что автор концепции «смерти автора» называет идеологией. Любая история, по мысли этого французского философа, может быть только историей культуры, и существование любого исторического факта может быть только «лингвистическим существованием». Исторический дискурс непосредственно участвует в создании и поддержании так называемого эффекта реальности. Иными словами, данный дискурс непосредственно вовлечен в утверждение идеологической иллюзии возможности обнаружения реального мира, наличествующего в разнообразных референтах, с которыми якобы тождественны означаемые. Применительно к истории в роли таких референтов оказываются ряды событий. Именно к таким событиям, – истолкованным как факты, говорящие сами за себя, – и призваны отсылать самым прямолинейным образом коннотации, которые задействуются историческими повествованиями. В логике раннего Барта современная идеология натурализует (и в этом смысле репрессирует) историю, выдавая произведения «буржуазной» культуры за компоненты естественно возникшего «порядка вещей»⁶. Однако именно исторический процесс, если рассуждать в логике позднего Барта, является, с одной стороны, исходной предпосылкой, а с другой –

⁴ Мы не можем согласиться с Полем Рикером в признании того, что среди всех структуралистов именно Уайту принадлежит особая прерогатива в обосновании этого вызова Аристотелю. Впрочем, нет никаких сомнений в том, что Уайт был одним из первых (если не самым первым) профессиональных историографов, кто вплотную подошел к пониманию невозможности сколько-нибудь полного и последовательного обособления вопросов, относящихся к исследованию *historia*, от вопросов, касающихся описательной аналитики *mithos*'а [5].

⁵ «Чтобы оценить поступок, нарушающий аристотелевский запрет, – пишет П. Рикер, – нужно правильно понять мотивы этого запрета. Аристотель не ограничивается констатацией того, что история слишком «эпизодична», чтобы удовлетворять требованиям «Поэтики» (в конце концов, это суждение без труда можно оспорить со времен творчества Фукидида). Он также говорит, почему история эпизодична: он изучает то, что действительно произошло, реальное же в отличие от возможного, сочиняемого поэтом и иллюстрируемого *perereteia*, содержит в себе случайность, над которой поэт не властен. В конечном счете, именно потому, что поэт является автором своей интриги, он может оторваться от случайной реальности и возвыситься до правдоподобной возможности. Перемещение истории в сферу поэтики акт не безобидный и должен иметь последствия, связанные с трактовкой реальной случайности» [5, с. 313].

⁶ В частности, в теоретическом комментарии к своим «Мифологиям» Р. Барта делает по этому поводу весьма показательные заявления: «...буржуазия трансформирует реальный мир в его образ, Историю в Природу ... Статус буржуазии совершенно конкретен, историчен; тем не менее она создает образ универсального, вечного человека; буржуазия как класс добилась господства, основываясь на достижениях научно-технического прогресса; буржуазная же идеология восстанавливает природу в ее первозданности...» [6, с. 110].

финальной целью самоутверждения множасьихся идеологических форм. Исторический процесс, таким образом, образует начальное и одновременно конечное звено в цепи коннотаций.

Второй непосредственный предшественник Уайта – М Фуко. Его творчество также олицетворяет собой лингвистический поворот, однако не столько в области собственно истории культуры, сколько в истории мысли, социальных установлений и дискурсивных практик. Если бартовский анализ культурных явлений предполагает смешение, своеобразную амальгаму Символического и Воображаемого (причем первое нередко как бы растворяется в последнем), то Фуко делает ставку на сепарацию Воображаемого и Символического, рассматривая последнее как совокупность порождающих механизмов, которые организуют исторические формации нашей мыслительной деятельности – эпистемы. У Барта культура исторична (и следовательно, вообще допускает постановку вопроса об историческом) лишь в той степени и форме, в какой история представляет собой культурное повествование (своеобразный текст или, точнее, метатекст культуры). У Фуко историческое не становится ни объектом злонамеренных репрессий со стороны идеологии, ни вместилищем иллюзий по поводу грядущего освобождения от идеологических пут (набрасывающих на наше мировосприятие пелену ложной реальности). Скорее, Фуко говорит об историческом как о том, что определяет мысль в ее становлении и может стать предметом высказывания. Однако из этого следует, что к историческому относится лишь мыслимое и высказываемое, то есть историческая проблематика полностью исчерпывается историей дискурсивных образований и мыслительных конфигураций. Все Немыслимое и Недискурсивное, конечно, тоже может стать достоянием исторического рассмотрения, но в качестве эффектов, которые порождаются в рамках главенства определенных формаций дискурсов и способов организации мыслительной деятельности⁷.

Барту, как нам кажется, Уайт обязан пониманием необходимости применения «риторического» анализа повествовательных текстов на основе выявления сплетающихся друг с другом кодов, соседствующих фигур, преобладающих тропов и т. д. Языковые структуры предстают в этом случае как инстанции, способные снабдить любое повествование процедурами утверждения истинного и сопряженными с ними иллюзиями достоверности. (И то, и другое, как блестяще прочувствовал американский историограф, совершенно необходимы именно для «научных» рассказов об историческом прошлом.)

⁷ Некоторые авторы, слишком поспешно признав подобную постановку вопроса, торопятся обвинять М. Фуко в склонности подменить исторический анализ производством симулякров, само существование которых бросает вызов незыблемому статусу очевидности, являемой «фактами истории». Нет особой необходимости говорить о том, что подобная постановка вопроса могла возникнуть лишь при условии наличия тайного (но от того еще более удивительного) доверия к заветам *наивного реализма*. Вот один из примеров, иллюстрирующих подобный подход “Повсюду мы сталкиваемся с тем, что Фуко называет «описанием» или разворачиванием целостных и замкнутых образов (литературно-поэтических, фольклорных, живописных) в последовательность дискурсивных (вербальных) значений, т. е. записи на языке, в сущности, чуждом им и отвергающем их право на собственную речь. Довольно странное предприятие, чем-то похожее на труд мастера симуляции ... Процесс копирования. Копирует язык, и копируется не ч т о, а к а к образа, т. е. к а к тот или иной образ сделан? Копия получает более высшую ценность, чем так называемый *оригинал*, последний берется не в «чувственно-содержательной» (переживание), а, напротив, в обезличенной и идеальной форме. Однако парадокс в том, что «объективному описанию» придается значение неизмеримо большее, чем *очевидности* видимого или рассказываемого [...] Копирование позволяет открывать скрываемое, но за счет массивного разрушения образца. Копия, которая копирует все связи и отношения внутри образца, разрушает последний, ибо пытается перевести его в иную ему реальность» [7, с. 136].

Фуко, на наш взгляд, повлиял на формирование у Уайта интереса к описанию повествовательного «стиля» того или иного историка, выявление которого неразрывно связано с исследованием так называемых вербальных моделей исторического процесса. Эти модели образуют то, что Уайт называет «доконцептуальным языковым протоколом», иначе говоря, совокупность предпосылок и условий изучения исторического материала, неразрывно связанных с избранной историком формой обращения с языком. Она, эта форма, содержит в себе набор возможных инструментов для конституирования поля исторического исследования, компонентами которого становятся как определенные (определяемые) объекты и типы отношений между ними, так и сконструированные (конструируемые) понятия, востребуемые для их «описания».

Уайт versus Леви-Строс

Первый и наиболее решительный шаг в плане видоизменения взгляда на историческую науку делает все же именно Леви-Строс. Он настаивает на том, что сама постановка вопроса о непрерывности как основополагающей характеристике темпоральных феноменов немыслима, если не принять во внимание символическое выделение событий, которые, будучи объединенными узами взаимной сопряженности, оказываются ни чем иным, как элементами некоего специфического кода. Как пишет Леви-Строс: «...можно говорить об антиномии исторического знания: если оно стремится достичь непрерывного, то оно невозможно, поскольку обречено на нескончаемую регрессию; чтобы сделать его возможным, требуется квантифицировать события, и тогда темпоральность как привилегированное измерение исторического знания исчезнет... [8, с. 138]. Установление событийных рядов или, иначе говоря, составление хронологии и есть, по мысли Леви-Строса, разновидность кодирования.

Соблазненный мнимой легкостью противопоставления внутреннего и внешнего, Леви-Строс заключает, что тайна любого события (рождающая особый пиетет исследователя перед ее непостижимостью) должна брать свое начало в трансцендентном. Принадлежа плану трансцендентного, любая событийность являет себя лишь *post factum* и исключительно в форме мифа (этого единственного – дискурсивного – пристанища трансцендентности). Отдалиться от какого-то события во времени – то же самое, что мысленно представить себе это отдаление, однако последнее будет предполагаться включением в иную, новую, событийность: интериоризация, переводение из плана трансцендентного в план имманентного дарует возможность некоторой (всегда неполной, то есть замешанной на мифологии) умопостигаемости произошедшего. Целостное событие (или, если угодно, чистая событийность) предстает для Леви-Строса чем-то не столько невозможным, сколько непостижимым. Однако эта непостижимость скорее не абсолютна, а относительна, поскольку бесконечная регрессия исторических интерпретаций способна в конечном счете обернуться открытием некоего закона развития истории.

«...достаточно того, что история отдалилась от нас во времени или чтобы мы отделились от нее в мышлении, чтобы она перестала быть интериорируемой и утратила свою умопостигаемость – иллюзию, привязанную к временному внутреннему состоянию. Но как бы мы ни заявляли, что человек может или должен выбраться из этого внутреннего состояния, сделать это не в его власти, и мудрость для него состоит в том, чтобы считать себя проживающим его, зная при этом (но в другом регистре), что его столь полная и интенсивная жизнь – это миф, который возникает у людей будущего столетия, а перед ним, возможно, предстанет как таковой несколько лет спустя и вовсе не появится для людей будущего столетия. Любое значение подотчетно наименьшему, дающему ему его более высокое значение; и если эта регрессия завершается в конечном счете

признанием “вероятной закономерности, о которой можно только сказать: это так и не иначе” (Sartre; p. 128) в этой перспективе нет ничего тревожного для мышления, не страшась ничего трансцендентного...» [8, с. 315].

Уайт полагает, что даже если поверить, будто хронология все-таки может существовать отдельно от поэтики, то обосновать подобную претензию на собственную автономию она может лишь в рамках конкретного исторического повествования, которое, в свою очередь, неизбежно отягощено «литературностью формы». Именно поэтому, исходя из подобной точки зрения, произведение историка или философа истории может быть оценено точно так же, как и любое другое литературное произведение. В отличие от Леви-Строса, Уайт верит в возможность непосредственного (пренебрегающего всяким вопрошанием о трансцендентности) обращения к тому, что он сам называет «голыми фактами прошлого», однако любая их интерпретация, в соответствии с «метаисторическим» подходом, сводится к познанию самих интерпретативных процедур, которые к ним обращены. Никакая верификация и никакая фальсификация исторических фактов попросту не возможны, ибо эти «факты» находятся вне доступа так называемого «прямого наблюдения». Отсутствие подобного доступа и есть признание того, что сами эти факты являются гипотетическими объектами, требующими, как пишет Уайт, «толкования с помощью процессов воображения, имеющих больше общего с “литературой”, чем с какой-либо наукой» (с.12).

Еще одно принципиальное различие между Леви-Стросом и Уайтом характеризует общий принцип демаркации *французского* и *англосаксонского* *структурализма*. Французский структурализм тяготеет к дедуктивизму: продвигаясь от частного к универсальному, он нацелен на исследование общих явлений культуры. Англосаксонский же структурализм скорее обнаруживает тяготение к индуктивизму, к следованию от декларации общих положений (как правило, заимствованных у французов) к рассмотрению конкретных образцов творчества определенных авторов (эта тенденция проявляется не только у Х. Уайта, но и, скажем, в подходе теоретиков Йельской школы деконструктивизма и т. д).

Леви-Строс видит конечной целью своих изысканий анализ того, что обозначается им в марксистском ключе как анализ «суперструктур», в форме которых реализуются концептуальные схемы, опосредующие отдельные аспекты человеческого поведения.

«Не ставя под сомнение неоспоримый примат инфраструктур, мы полагаем, — пишет он, что между *praxis*'ом и практиками всегда вставляется медиатор, являющейся концептуальной схемой, благодаря действию которой материя и форма, лишенные обе независимого существования, реализуются в качестве структур, иначе говоря, как бытие одновременно эмпирическое и интеллигибельное. Именно в эту теорию суперструктур, лишь едва намеченную Марксом, мы надеемся внести свой вклад...» [8, с.215].

Проект Уайта иного рода — его суть заключается в попытке создать «историческую поэтику», не претендующую на открытие каких бы то ни было структур исторического и, тем более, на рассмотрение форм и степеней структурирования историчности. Уайт без долгих мучений и лишних колебаний просто представляет историю как структуру воображения.

«Мой анализ глубинной структуры исторического воображения в Европе XIX века нацелен на обоснование нового взгляда на современную полемику о природе и функциях исторического знания. Этот анализ ведется на двух уровнях. Во-первых, рассматриваются труды признанных мастеров европейской историографии XIX века и, во-вторых, труды выдающихся философов истории

того же периода. Главная цель состоит в определении родственных характеристик различных представлений об историческом процессе, которые реально проявляются в работах классических рассказчиков. Другая цель – определить различные возможные теории, которыми философы истории в то время обосновывали историческое мышление. Для выполнения этих целей я буду рассматривать как историческую работу как то, чем она наиболее очевидно является – как вербальную структуру в форме повествовательного прозаического дискурса, предназначенную быть моделью, знаком прошлых структур и процессов в интересах объяснения, чем они были посредством их представления ... Короче говоря, мой метод – формалистский. Я не буду пытаться решать, является ли работа данного историка лучшим или более верным изложением специфической совокупности событий или сегмента исторического процесса, чем какого-то другого историка, я скорее попытаюсь установить структурные компоненты этих изложений» (с.23).

Аналитика истории, понятой как структура, сводится к каталогизации пяти компонент, соответствующих разным концептуальным срезам исторического рассказа. Первой выступает «хроника», второй служит собственно «история», в качестве третьей предстает тип построения сюжета (*emplotment*), четвертая компонента обозначается как тип доказательства (*argument*), наконец, пятая являет собой идеологический подтекст (*ideological implication*).

К непосредственному ведению «исторической поэтики» Уайт относит три последние компоненты, вынося уяснение статуса «собственно истории» и «хроники» за пределы проблемного поля своего «формалистского» рассмотрения (то есть фактически избегая темы описания процедур символизации, связанных с теми уровнями исторического повествования, которые он называет «примитивными»). Вместе с тем именно исследование этих «примитивных уровней» могло бы поспособствовать раскрытию того, что, возможно, составляет сейчас самое главное в работе историка и философа истории: сложной взаимосвязи хода истории со становлением способов и средств символической кодификации, отмеряющей сроки, определяющей ритмы и поддерживающей циклы исторического процесса.

Рассмотрим подробнее историографические стили, формируемые историками для того, чтобы наделить свои произведения «объяснительным эффектом», то есть придать повествованию эвристическую ценность. Уайт представляет историографический стиль как комбинацию трех из пяти составляющих любого проекта по концептуализации истории: речь, соответственно, идет, во-первых, о построении сюжета (*emplotment*), во-вторых, о форме аргументации (*argument*), и, в третьих, об идеологическом подтексте (*ideological implication*). Исходя из этого, можно выделить четыре типа сюжета: романтический, трагический, комический и сатирический (данное разделение впервые обозначено предшественником Уайта Н. Фраем); четыре типа доказательства (здесь Уайт воспроизводит классификацию С. Пеппера): формистский, механицистский, органицистский, контекстуалистский; четыре типа идеологического подтекста (описываемого Уайтом в соответствии с разграничениями, последовательно обоснованными К. Манхеймом): анархический, радикальный, консервативный и либеральный. Важно также отметить, что автор «Метаистории» не делает особых различий между историками и философами истории, рассматривая на равных творчество четырех историков: Ранке, Мишле, Токвиля, Буркхардта и четырех философов истории: Гегеля, Маркса, Ницше и Кроче.

1. Сюжет. Романтический тип сюжета предполагает героическое повествование, заканчивающееся триумфом центрального действующего лица, который восстает против гнета внешних обстоятельств, олицетворяющих зло, порок,

тму и т. д. Такого рода триумф обычно сопровождается еще и победой героя над собственными слабостями: торжеством аскетического само преодоления. Сатирический сюжет выступает антиподом романтического – в нем любые победы героя над собой и над враждебным окружением оборачиваются ничтожными, лишенными всяких оснований упованиями. Драматизм Сатиры отличается от драматизма Романа тем, что в первом случае любые усилия в конечном счете оказывается пустой и бессмысленной затеей, которая попросту не может иметь успеха. Комедия и Трагедия повествуют не столько о глобальных происшествиях, сколько об индивидуальной судьбе. В них внимание приковывается к процессам, происходящим не во «внешнем», а во «внутреннем» мире. Однако события, происходящие во «внутреннем» мире, приобретают глобальное значение в силу того, что основной конфликт разгорается между этим миром и миром «внешним». Комедия живописует нечаянное разрешение такого конфликта в пользу человека, трагедия – полное его поражение перед лицом безжалостной воли обстоятельств. (Исторические повествования Мишле Уайт считает романтическими, Токвиля – трагическими, Буркхардта – сатирическими и т. д.)

2. Доказательство. Формизм, в том виде, как его определяет Уайт, предполагает историческое повествование, сведенное к суммированию частных случаев, возникших прецедентов, биографических подробностей. Основной характеристикой формизма служит тяга к выявлению уникального. (К формистам, в частности, можно отнести Гердера, Карлейля, Мишле). Органицизм, согласно Уайту, сводится к обнаружению преемственности в истории, к пониманию единства различных исторических образований. В отличие от механицистов, органицисты стремятся найти не законы, а принципы или «идеи», управляющие процессами развития. При этом органицисты скорее обращаются к изучению отдельных цивилизационных процессов, а не цивилизации в целом. В этом они тоже противоположны механицистам. (К органицистам Уайт причисляет Гегеля, Моммзена, Трайчке; к механицистам – Бокля, Маркса, Тэна.) Наконец, контекстуализм, согласно воззрениям автора «Метаистории», связан с описанием взаимосвязей, устанавливаемых между социокультурным «окружением» и теми людьми или институтами, которые в нем существуют. (К образцовым контекстуалистам Уайт относит Буркхардта.)

3. Подтекст. Консерваторы в изображении Уайта подозрительно относятся к изменениям в принципе и с еще большим подозрением – к изменениям быстрым и радикальным, которые затрагивают организацию общества. Форма изменений, которая для них приемлема, ассоциируется с медленным ростом и прочным укоренением. Либералы также не являются сторонниками крупномасштабных изменений и полагают, что подлинные трансформации происходят в логике настройки или наладки общественных учреждений (мыслящихся ими по аналогии с механизмами). Радикалы и анархисты, напротив, приветствуют преобразования, причем исходят из того, что последние обязательно должны носить структурный характер. Отличает их друг от друга только то, что для анархистов лейтмотивом изменений является возвращение к некоему утраченному в прошлом состоянию, а для радикалов – созидание утопического будущего. (Расположив на разных полюсах консерваторов и радикалов, Уайт делает образцовым представителем первых Шпенглера, а вторых – Маркса.)

Автор «Метаистории» утверждает, что между определенными типами построения сюжета, типами доказательства и типами идеологического подтекста существует взаимодействие, но не существует строгой взаимосвязи. Стиль того или иного историка или философа истории рождается, как пишет Уайт, не из структурной предопределенности одноуровневого единства различных измерений

концептуализации истории, а из диалектической напряженности между всеми тремя составляющими, рождающей их особую комбинацию в повествовании каждого исследуемого автора. Вместе с тем, нельзя игнорировать существование и того, что Уайт обозначает как «избирательное родство» отдельных видов идеологий, аргументации и сюжетного построения (с.49–52).

Миф и интрига истории: проект «тропологии»

Как сформировалась теоретическая позиция Уайта и каково было ее значение в контексте структуралистской мысли 60–70-х годов? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо вновь обратиться к теме мифа как формы организации исторического, точнее, к тому, каким образом структуралисты интерпретировали миф *в качестве особого символического кода, который через обозначение отсылает к необозначенному и необозначаемому, то есть к фактичности событий, чье наличие может быть предъявлено лишь через констатацию неопределенности начала генезиса: «давным-давно», «в незапамятные времена», «когда-то» и т. д.*

В лингвистическом структурализме феномены языка воспринимались как социальные факты, а в антропологическом структурализме уже сами факты конституировались как языковые феномены. При этом фактичностью, то есть *определенным бытием*, стало наделяться именно то, что не просто оказывалось сопряженным с языком, не просто обозначалось в языке, но то, что требовало конституирования неких лингвистических форм для своего выражения. Определенность этой бытийственности, ее дали, края и пустоши располагаются отныне в *социальном*. Социальное достигает объективации, начинает бытийствовать как высшая инстанция бытия только после того, как языковые объекты делаются прообразами тех или иных аспектов социальных отношений (вначале, в структуралистскую эпоху, речь идет только о различных видах так называемого социального обмена). Объективация социального требует особой онтологии, которая предполагает рассмотрение *отношений* как *способа существования социального*. Именно отношения составляют ту подвижную и изменчивую материю, ту форму бытийственности, которая объединяет устройство языка и устройство социума.

Нельзя уже просто сказать, что язык выступает аспектом социальной реальности или что социальная реальность организуется по аналогии с языком. Вопрос должен быть поставлен совершенно иначе: социальное измерение речевой деятельности утверждается в рамках развития этой деятельности в качестве окончательного привилегированного воплощения реального, каким оно дается человеку, в качестве наиболее объективированного аспекта нашего бытия. Такова онтология структурализма – *онтология отношений, связей*, а не субстанций и акциденций, субъектов, вещей или идей.

Структуралистскому пониманию мифа принадлежит особая миссия в такой постановке вопроса. Миф в структурализме – не только история (повествование, рассказ), которая может оторваться от собственной языковой основы. Это также и способ обоснования исторического внутри и посредством языка, более того, способ, открывающий возможность интерпретации истории – как процесса и как действия – в рамках онтологии отношений. Обосновывающий историческое язык далеко не сразу обнаруживает данное свое предназначение, далеко не сразу открывается в подобном качестве. Чтобы совершить такое обращение к истории, язык должен отсоединиться, отслоиться от самого себя, должен отнестись к тому, что составляет его внутреннее достояние, как к чему-то совершенно внешнему.

Социальное имманентно языку, оно выступает его внутренним достоянием, коль скоро язык объективирует социальное, любые социальные феномены. Однако оно

обширнее, нежели сам язык, это внутреннее оказывается ему внешним. Самоовнешнение языка представляет собой ни что иное, как становление социального, открывающее для него вереницу возможностей оторваться от самого себя. Вместе с тем любое такое порывание языка с самим собой оборачивается конституированием его в качестве мифа, в качестве символического кода и кода символического одновременно. Миф всегда является выраженной историей, самым внешним языка. В то же время нет ничего более внешнего, трансцендентного, нежели язык, вступающий в противоречие с самим собой. Нет, потому что именно язык устанавливает эту мерку, мерку внешнего, трансцендентного, создание которой и составляет акт конституирования мифа, акт противостояния языковой системы себе самой. Миф каждый раз выступает структурой самоуказания инобытия. Вне этого самоуказания история оказывается чистой темпоральностью, в его же рамках она обращается в социальную историю.

Возможность структурализма связана с обнаружением того, что трансцендентность имеет мерку, указываемую мифом. Однако структуралистское повествование не исчерпывает ни мифологичность мифа, ни историчность истории. Пытаясь найти общую формулу инобытия (или, если угодно, общую формулу исторического), структурализм претендует на то, чтобы выявить всеобщие структуры мифологизации (а шире, всеобщие структуры символического). Это дерзкое и одновременно дерзновенное предприятие заканчивается мифологизацией Всеобщих Структур, мифологизацией Символического. Попытка найти во Всеобщей Структуре средство универсальной репрезентации форм исторического инобытия (пусть даже изначально признается, что эта универсальная репрезентация будет отсрочена на неопределенный период) оборачивается лишь открытием инобытия самой истории, формой которого и оказывается Символическое, ставшее мифом о Всеобщей Структуре. Структуралистский исторический анализ предполагает применение онтологии отношений лишь к истории структур, которой противопоставляется история, сведенная к чистой темпоральности, то есть, всего того, что структурализм оставляет за порогом своей истории структур. Эта «чистая темпоральность» погребает под собой саму возможность рассмотрения истории субъектов, вещей или идей⁸, что, без сомнения, можно сделать в контексте онтологии отношений, важнейшая заслуга в разработке которой, конечно же, принадлежит структурализму.

Фигура Уайта ассоциируется с особым ответвлением структуралистской мысли – историческим структурализмом (обозначаемым таким образом, исключительно в силу своей предметной спецификации, а не по причине родства с различными версиями так называемого генетического структурализма). Уайт не говорит о нахождении Всеобщих Структур, но сводит задачу историографа к анализу исторического воображения историков, он не говорит и о Символическом – скорее, в зоне его внимания оказывается Дискурс исследователя истории. С онтологии отношений он смещает интерес к исследованию форм ее словесного утверждения. При этом тип отношений, становящихся предметом рассмотрения американского историографа, может быть охарактеризован как перцептивные отношения, отношения организующие образное восприятие. Анализу Символического Уайт предпочитает анализ Воображаемого, замыкая структуралистское исследование в области рассмотрения

⁸ Одним из первых это отметил пронциательный М. Мерло-Понти: «В социологии также существует свой масштаб, и истина общей социологии не в состоянии упразднить истины микросоциологии. Импликации формальной структуры могут привести к возникновению внутренней необходимости. Но не они делают так, что существуют люди, общество, история» [9, с. 91].

вымысла (и различных форм исторического воображения, с ним связанных). Структурная аналитика понимается в данном случае как описание средств исторической риторики или, если пользоваться термином самого Уайта, как историческая «тропология».

«Тропология – это теоретическое объяснение вымышленного дискурса, всех способов, какими различные типы фигур (метафора, метонимия, синекдоха и ирония) создают типы образов и связи между ними, способные служить знаками реальности, которую можно лишь вообразить, а не воспринять непосредственно. Дискурсивные связи между фигурами (людей, событий, процессов) в дискурсе не являются логическими связями или дедуктивными соединениями одного с другим. Они, в общем смысле слова, метафоричны, то есть основаны на поэтических техниках конденсации, замещения, символизации и пересмотра. Вот почему любое исследование конкретного исторического дискурса, которое игнорирует тропологическое измерение, обречено на неудачу в том смысле, что в его рамках невозможно понять, почему данный дискурс “имеет смысл” вопреки фактическим неточностям, которые он может содержать, и логическим противоречиям, которые могут ослабить его доказательства” (с. 10).

Отнесенный к сфере Воображаемого, а не Символического, миф теряет всякое значение для обоснования исторического (кроме как на уровне описания риторических компонент, заключенных в самом способе изложения материала историка). *Мифологическое повествование при этом сводится к изложению побасенки, к сочинительству, одновременно интрига истории перестает ассоциироваться с мифом.* Основная гипотеза Уайта в том, что даже тот историк, который больше всех сторонится любой образности и беспрестанно готов разоблачать иллюзии, не может избавиться от риторики, делающей воображение неотъемлемой частью, – более того, неизбежным условием, – работы, связанной с историческими реконструкциями. Продолжение данной гипотезы – в постановке вопроса, допускающей единство дискурсивных структур и структур, организующих наше образное восприятие: присутствие образности в историческом повествовании неустранимо потому, что организация данного повествования неизбежно связана с риторическими формами, привносящими образность вне зависимости от желания или нежелания автора.

Как полагает Уайт, без моделирования этой образности историк не может даже подступиться к своей работе. Для историка важна не интрига его повествования, а другое: то, что обозначается Уайтом как «префигурация», совершающая на подсознательном уровне и касающаяся именно Воображаемого, а не Символического (которое корреспондирует с Бессознательным в его континентальном понимании). Историк должен представить себе поле собственной деятельности, то есть создать набор различных интерпретационных средств, дающих ему возможность конструировать его собственное видение исторической реальности. Как нельзя не заметить, историческая реальность предстает в данном случае исключительно как конструкт, не сопряженный прояснением конституирующих возможностей языка и единства его устройства с устройством социума. Эта историческая реальность менее всего может рассматриваться как область полевых исследований для онтологии отношений: проблема отношений сводится у Уайта к описанию того, что он называет «языковыми протоколами» (включающими в себя лексический, грамматический, синтаксический и семантический уровни и являющимися достоянием того или иного историка или философа истории).

Данная проблема приобретает *праксеологическое* измерение, когда формирование каждого из перечисленных протоколов описывается как *акт*, заранее совершаемый теми, кто намеревается обратиться к познанию истории. Более того, этот,

как пишет Уайт, «докогнитивный» и «некритический» акт, делает возможным обращение к историческому исследованию. Проблема лишь в том, что с самого начала он называется «поэтическим» и воспринимается как целиком пронизанный некой риторикой, или, в терминах Уайта, «тропологией». Собственно действие в этом акте неотделимо от структурной рекомбинации «тропов», организующих то, что автор «Метаистории» называет» воображением.

Вместо заключения: «Декодированный» Хейден Уайт

В структурализме 60–70-х годов прошлого века выделяются различные способы придания языковым феноменам онтологического статуса. Дистанцию между этими способами можно провести, исходя из отношения к пониманию мифа как особой символической формы, организующей перцептивности, обращенной к истории, к историческому времени. Говоря по-другому, сделать это можно, опираясь на изучение символического порядка, открывающего возможность для нашей исторической чувствительности, снабжающего попутно особым предметом, к которому приковывается ее внимание. Имя этого предмета *историчность*.

Все указанные способы предполагают довольно несхожие версии «мифологизации» истории, но ни одна из них не сводится к такого рода «мифологизации». Напротив, каждая предполагает ответ на вопрос: *что такое исторический процесс?* Этот вопрос постоянно, с некой навязчивой неизбежностью, сопутствует структурализму, как бы возвещая о собственной принадлежности последнего к историческому.

Повествовательная интрига структуралистской мысли не ограничивается интригой структуралистского повествования. Не-становящаяся актуальность и есть то, что составляет эпохальность структурализма. Однако эта эпохальность с развитием структуралистского повествования, с ходом его становления как актуальности не-становления утверждается в своей несамотождественности. Интрига становления структурализма обнаруживает по мере своего разворачивания несовпадение с интригой его собственного повествования. В образовавшийся зазор между становящимся структурализмом и не-становящейся актуальностью *вторгается историческое*, обращенное в качестве неотвратимого вызова к самим структуралистским «структурам», то есть к структурализму как особой модели повествовательности. Структурализм «пережил» свою эпохальность, обратившись в постструктурализм.

Структуралистские «структуры» не обладали прочной соотнесенностью с расширяющимся горизонтом человеческой деятельности и воспринимались как инварианты, открытие которых манило разрешением проблемы нахождения всеобщих принципов социальной организации. Так же как сам миф не может быть сведен к языковым и речевым феноменам, историческое время, организованное как миф, не сводимо в рамках структуралистской схематики истории к практическому становлению-во-времени, то есть, проще говоря, к истории развития форм практической деятельности.

Медиатором между темпоральностью практики и отдельными историческими практиками выступает для структурализма само структуралистское повествование, конструирующее структуру в качестве собственного конституирующего принципа. Вызов, адресованный структуралистскому повествованию, обращен поэтому к конститутивности самих этих структур. Он совершается в форме открытия того, что конститутивность данных структур нуждается в *praxis'e* и поддерживается *praxis'ом*, который непосредственно олицетворяется доминирующими в определенную историческую эпоху практиками (воплощаясь во всем комплексе их взаимосвязей друг с другом без навязчивого посредничества каких бы то ни было концептуальных схем).

Хейден Уайт принадлежит к англосаксонскому ответвлению структурализма. В рамках этого направления тезис о конститутивности структур изначально является проблематичным. Структуралистское повествование в русле англосаксонской традиции скорее конструируется, нежели нечто конституирует. Оно предполагает формирование некой объяснительной модели, но стремится не наделять реальность свойствами данной модели. Говоря по-другому, англосаксонский структурализм может содержать и содержит определенные онтологические импликации, но даже в тайне от самого себя не претендует на обращение к онтологии.

Уайт не является здесь исключением. Его представление о познании исторического процесса связано с прояснением эпистемологических аспектов деятельности историков и философов истории. Он не занят решением проблемы самой возможности исторического времени. Если в его текстах и можно вычленить некие мотивы, сопряженные с онтологическим вопрошанием, то речь всегда будет идти об онтологии структур Воображаемого, а не об онтологии структур Символического. Это, несомненно, рождает очень интересный эффект: реальные действующие лица истории, реальные исторические процессы и исторические события оказываются не доступны для исторического исследования, разворачивающегося у кромки, отделяющей Воображаемое от Реального.

Реальность оказывается пленницей исторического воображения. Однако Уайт демонстрирует, что подобное состояние, – во всяком случае, если речь идет об *исторической* реальности, – представляет собой едва ли не единственный способ ее существования. В этом смысле, следуя логике Уайта, любой человек обречен хотя бы отчасти являться историком. Историческое воображение выступает условием нашего бытия-в-истории, дарующегося каждому из нас лишь при условии, что (вполне в духе Декарта) мы можем предъявить свои эвристические возможности как вексельные поручения, служащие подтверждением нашего онтологического статуса. Отдавая предпочтение исследованию структуры исторического воображения, Уайт, задним числом рассматривает и действие-в-истории, и исторический процесс в целом лишь с *точки зрения* их кодификации или, иначе говоря, с точки зрения наиболее кодифицированных их проявлений.

Литература

1. Апполинарий. 1995. №3. С. 66–73
2. Бурдые П. Практический смысл. М.–СПб.: Алетейя, 2001.
3. Косериу Э. Синхрония, диахрония, история//Новое в лингвистике. Вып. III. М.: ИИЛ, 1963.
4. Леви-Строс К. Структурная антропология М.: Наука, 1985.
5. Рикер П. Время и рассказ. Интрига и исторический рассказ. М.-СПб.: Университетская книга, 1999.
6. Барт Р. Избранные произведения. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1994.
7. Подорога В. Навязчивость взгляда. М. Фуко и живопись //Фуко М. Это не трубка. М.: ХЖ, 1999.
8. Леви-Строс К. Неприрученная мысль // Первобытное мышление. М.: Республика, 1995.
9. Мерло-Понти М. От Мосса к Клоду Леви-Стросу // В защиту философии. М.: ИГЛ, 1996.

IN MEMORIAM



Ушла из жизни **НИНА ФЕДОРОВНА НАУМОВА** – один из выдающихся представителей отечественных социологов первого советского «призыва».

Несмотря на тяжелую и уже многие годы сковывающую болезнь, она оставалась в ряду лидеров исследователей личности, мотивации социального поведения и болезненных травм, переживаемых согражданами в годы реформ.

Н.Ф.Наумова ввела в наш научный словарь понятие «рецидивирующая модернизация» и сформулировала непереносимые условия успешности переходного периода: достаточность ресурсов, удержание контроля над ситуацией в обществе, становление среднего класса и формирование мобилизирующей граждан понятной им цели преобразований. Если эти условия не вполне соблюдены, неизбежен возврат к тому, от чего мы стремимся уйти – ущербная демократия, небрежение к правам человека и «командно-административная система».

Нина Федоровна оставалась убежденным российским интеллигентом шестидесятых годов – «хрущевской оттепели», воителем справедливого общественного устройства, при котором не должно быть обездоленных, но никому не запрещено процветание. В этом видела она свой профессиональный и гражданский долг.

Выдающийся ученый и добрейший человек ушел из жизни, оставив в наследство свои труды и неосуществленные надежды на справедливое устройство российского общества.

Прощаясь с Ниной Федоровной, мы как ее коллеги в профессии и как граждане обязаны постоянно задаваться вопросом: *«Что ТЫ сделал для того, чтобы не допустить возврата к обществу, игнорирующему личность?»*

В. Ядов

Наумова Н.Ф.

«МНЕ ТРИЖДЫ ПОВЕЗЛО»¹

– *Насколько мы знаем, Нина Федоровна, вы окончили философский факультет Московского университета. И до этого жили в Москве?*

– Родилась я в Муроме, точнее говоря, в железнодорожной будке – дед у меня был путевым обходчиком (а родители мамы – крестьяне). Поскольку папа был партийным работником, всю жизнь мы колесили (тогда была такая манера, чтоб никто нигде не задерживался). Мама говорила: «Не успеешь кастрюлю купить, а тебя на новое место». В Москве мы обосновались в 38-ом году, у папы были серьезные неприятности, но, слава богу, остался жив. И с 38-ого мы в Москве. Как я попала на философский факультет? Вообще-то хотела на филологический, потому что в школе учителя хвалили мои сочинения и т.д. Пошли подавать заявления в МГУ вместе с приятелем (он поступал на философский). Я подошла к своему столику, и мне сказали, что конкурс – 40 человек на место.

– *Это какой год?*

– 1949-ый, страшный и мрачный год... А я никогда не любила соревнований. В состоянии конкуренции на меня нападает ступор. Я походила, походила, потом спрашиваю приятеля: «А у тебя что?». Он говорит: «Существенно меньше». И я подала заявление на философский факультет. У меня была серебряная медаль, так что принимали нас без экзаменов. Единственная была трудность – автоматически при собеседовании девушек отбирали на психологическое отделение. И тут я уперлась: сказала – ни за что. Почему? До сих пор не могу понять. Может быть, это связано со скандалом в школе, из-за которого, собственно, я и получила серебряную медаль. Поставили мне четверку по астрономии и еще по какому-то такому же экзотическому предмету (решили, что золотую мне не дадут ни за что, но я не в обиде, это все нормально и поделом). А скандал был связан с тем, что почему-то в десятом классе я вдруг начала проповедовать в школе, как утверждали (и это, наверное, так) Ницше. Ни одной книги Ницше я в руках не держала – это факт. Откуда взяла фамилию – не помню. Где-то, видимо, что-то слышала, ухватила, а была некая склонность к выпендрежу. Вот и понесло. Зачем мне это было нужно, почему Ницше? Во всяком случае я решила, что психология мне ни к чему, а на философский поступила.

Учили нас, я считаю, прекрасно. Отличные преподаватели читали собственно философию. А что такое собственно философия – это ее история. Была очень сильная естественнонаучная составляющая – проявлялось стремление замкнуть философию на естественные науки, и в связи с этим преподавали физику, математику, биологию, что было очень полезно. При этом читались прекрасные курсы литературы, истории. Дело даже не в том, как их читали. Но есть эпизоды, которые я постоянно вспоминаю, когда говорят, например, что в те годы едва ли не в ГУЛАГ отсылали, если человек изучал Достоевского. А я хорошо помню, как сижу в нашей крошечной аудитории на Моховой, готовлюсь к зачету по русской литературе, передо мной «Преступление и наказание» и я считаю: для того, чтобы прийти с чем-то на зачет, я должна читать по 100 страниц в час – добьюсь такой скорости или не добьюсь? Не помню, прочитала я тогда «Преступление и наказание» или нет. Но сам факт, что от меня этого требовали...

Тяжела была собственно идеология, которая сводилась к истории партии. Но и тут: я, скажем, не сдала с первого раза биографию Сталина, сейчас может показаться –

¹ Беседу записали М.Г.Пугачева и С.Ф.Ярмолюк. Текст интервью опубликован в книге «Российская социология шестидесятых годов в воспоминаниях и документах. СПб.:РХГИ, 1999. С.301-316.

ну, действительно, человек завалил биографию Сталина, его же в порошок сотрут! Ничего. Конечно, сказали все, что про меня думают, но в общем ничем мне это не грозило.

Вот так я училась на философском факультете. И это было первое колоссальное везение. Второе везение – что попала в Институт философии. Непосредственное общение с такими людьми, как Э.Ильенков, А.Зиновьев, А.Брушлинский, В.Лекторский и другие, стало прекрасной учебой. Так же, как позже я училась у В.Ядова и Ю.Левады, Г.Осипова и Б.Грушина, И.Кона и Ю.Давыдова и многих других. Сейчас кто-то из них может отказаться от такой ученицы, это их право. Но тогда они были моими учителями. А третье везение – когда меня выгнали из Института социологии. И вот сейчас мы переходим к теме.

В какой-то момент, уже в аспирантуре, я поняла, что в философии не тяну. Я считаю, у многих, у большинства в институте, был иной, более «высокий» склад ума. И тут появился у нас Геннадий Васильевич Осипов, то есть он у нас всегда был, но все время себя искал, и вот именно в тот период ему, видимо, стало ясно, что он может найти себя и вообще сделать большое дело, занявшись социологией. Легкость всего определяется, как мне представляется, тем, насколько серьезны специфические способности человека. Осипов имел такие способности, которые нужны в социологии. А это определило и мой род занятий.

Первая моя публикация появилась в 1960 году. Это была книжка, издававшаяся под руководством Ю.П.Францева, которая хоть на что-то претендовала, во всяком случае ее авторы что-то читали по социологии (Францев, конечно, был известной фигурой, но толкал его все время в этом направлении Осипов).

– *А когда вы учились на философском, там возникала речь о социологии как таковой?*

– Нет, слова такого не было. И когда пришла в Институт философии, если о социологии и говорили, то только Осипов. Он просто много читал. У него, я так думаю, лучшая библиотека по социологии у нас в стране. Нужно отдать ему должное – он всегда собирал книги (поскольку хорошо знает английский) и делал очень правильную вещь, которую, кстати, у нас делают единицы, а без этого вообще нет профессионала. Вот он берет книжку и смотрит что? – оглавление. Все считают – это неважно. Нет. Можно держаться на уровне, если просто просматривать периодику и основные монографии. Ты всегда будешь в курсе того, как я называю, «что носят». Это совершенно необходимая вещь. А Осипов много ездил, у него были связи и много друзей, которые тоже ездили и имели связи. Ю.Замошкин, Ю.Семенов, В.Семенов – была такая группа вокруг Францева. Я помню, когда мы делали ту первую книжку (а я была техническим секретарем издания) и собиралась эта компания – Францев – орел-король и блестящие «мальчики» (они все кончали МГИМО, если не ошибаюсь) – у них все было в руках, они были в курсе всего, поэтому сумели задать некий уровень.

Осипов, может быть, сам не очень писал и не очень работал, но поскольку все время собирал и просматривал книги, то делал простую и чрезвычайно необходимую вещь. Вот идет какое-нибудь обсуждение. В основном все гуманитарии, все изобретают велосипед и никто ничего не читает. (Вы зайдите у себя в институте в библиотеку и посмотрите, кто читает периодику по социологии, американскую или французскую; это будет интересно). Осипов сидит на таком обсуждении, слушает и говорит: «Ты последнюю книжку на эту тему читал?». – «Какую книжку?». – «Ученую». Все. На этом человек замолкает или начинает кричать что-нибудь о буржуазной социологии, зарубежной науке, что вообще это все не то, а нам нужна новая наука, новое мышление и т.д. Или он все-таки пойдет и прочтет, ну, пусть не самое последнее, но явно полезное. В этом смысле, конечно, Осипов был для нас человек очень необходимый.

Геннадий Васильевич предложил мне заняться социологией, помог с темой диссертации. Тогда был издан на английском языке и, более того, переведен на русский огромный том заседаний комиссии Конгресса США по вопросам автоматизации. В Америке был страшный шум по этому поводу – там столкнулись силы, заинтересованные в развитии автоматических линий, и профсоюзы. У нас уже тоже начиналось какое-то движение, инициатива шла от ГКНТ. Надо было сориентироваться в проблематике, я занялась этими материалами. Скучища была ужасная. Однако в связи с темой я искала и находила какие-то зарубежные опросы, постепенно втянулась. И в это время как раз организовался сектор новых форм труда и быта, с которого все и началось. Я оказалась в секторе вместе с Юлианом Николаевичем Козыревым, потом уговорила перейти к нам из издательства «Мысль» Николая Ивановича Лапина. Мы стали работать, ничего, по сути, не зная. Еще когда я начала писать диссертацию, Осипов говорил: учи английский. Я считала, что знаю французский и обойдусь. А он: «Да какая на французском языке социология?». Только после того, как три месяца я ждала Парсонса на французском языке из парижской библиотеки (он все-таки пришел), я продвинулась в английском. А тут уже наши девушки (сотрудницы Левады) стали переводить Парсонса, и очень неплохо.

– *Эти переводы где-нибудь публиковались или ходили по рукам?*

– Как только выделился отдел социологии, стало появляться огромное количество изданий, в частности, переводов. Просто шли косяком (они же практически были готовы). Вот тут-то и обозначилась драма в нашей социологии, поскольку мы понимали, что начинать надо с нуля и не обратись к каким-либо истокам. У нас была социология после революции, и неплохая. Но вы же понимаете, сколько лет прошло, мировая социология продвинулась колоссально. Начинать с тех наших истоков было бессмысленно. Нужно было выходить на какой-то современный уровень. И вышли мы на этот уровень исключительно через американскую социологию. Французская, немецкая, английская социология для нас просто не существовали по той простой причине, что в основном наиболее активные, энергичные люди, которые хотели все это освоить (и передать другим), были англоязычные.

Сама по себе американская социология, конечно, очень неплохая. Я не считаю, что она ведущая, но действительно очень развитая, очень профессиональная. Она и более продвинута в своей структуре, в том смысле, что четко обозначилось разделение: академическо-фундаментальное и заказное в социологии. А поскольку американцы все делают до конца, они решили и эту проблему: если ты «заказник», то тебя и на порог не пустят и статью твою не возьмут в журнал. Началось это с проекта «Камелот» (60-е годы), когда очень сильные американские социологи приняли участие в проекте ЦРУ, связанном с регулированием развития Латинской Америки в интересах Соединенных Штатов. В то время в США были довольно сильны левые настроения на фоне стабильного экономического роста, такая приобщенность социологов к ЦРУ воспринималась как скандал, позор, произошла «разборка», после чего представители академического, фундаментального направления пришли к столь жесткому разделению (не знаю, насколько это выдерживается сейчас). Почему? Это совершенно понятно. Даже прикладники, прослойка между «заказниками» и академическими социологами, могут рассчитывать на заказы и каким-то образом жить лишь до тех пор, пока социология все-таки имеет статус науки (не «подай», «принеси», «получи результаты, которые нужно»). Поэтому они оберегают статус своей науки прежде всего в собственных интересах. «Хлеб» их определяется именно этим статусом, и они его берегут.

Я говорю больше об американской социологии, потому что я типичный наш советский социолог, который знает только то, что происходит именно в ней. С ней

связаны и друзья, и журналы, и все что угодно. Но своя-то она для американцев, у нее другие корни, как теперь оказалось. Та реальность, которую изучает американская социология, – наиболее далекая от нас социальная реальность, это становится все яснее. Европейская нам ближе, но тут мы опять ничего не знаем (я, предположим, считаю, что нам всего ближе итальянская реальность, но в итальянской социологии я даже фамилий не знаю). У французов – прекрасные традиции социологии труда, социологии организаций. В немецкой социологии на высоком теоретическом уровне отработана проблематика, связанная с социальным неравенством и дифференциацией. (Ссылки на Маркса и Дарендорфа даже в американских журналах имеют очень высокий рейтинг). Английская социология тоже весьма интересна и очень далека от американской (хотя и язык один).

Так к чему привели этот перекося, определенная однобокость в изучении социологии? Независимо от того, понимали мы это или нет, та схема, которую мы осваивали и впитывали в себя, не давала возможности разобраться в том обществе, в котором живем. Она была к этому мало пригодна и не очень эффективна. Получилось так, что мы начали развивать социологию, усиленно работать, имея в руках в общем не очень пригодный инструмент. Где его действительно можно было применить, там что-то еще получалось, а где он не подходил...

Вот, в частности, он совершенно не подходил к той проблематике, которой занималась я (социологией труда сначала). Естественно, проблемы социологии труда в Соединенных Штатах и у нас совершенно разные. Мы многое пытались сделать, но, я считаю, никаких результатов не получили. А если это так, не могло возникнуть и теории. Очень многие, ориентируясь на американскую социологию, исходили из того, что если мы ее хорошо освоим, то больше нам ничего и не нужно. Но совершенно очевидно, что это была тупиковая позиция в научном смысле. И люди прорывались и создавали что-то значительное только тогда, когда они (не говоря об этом, а, может, сами того не сознавая) откладывали в сторону все, что знали, и создавали на голом месте нечто свое.

В общем, это все самоделки. Я считаю, что действительно настоящее научное достижение – это концепция Ядова об уровнях. Но это тоже самоделка. В каком смысле? Он не вписывается в то, что уже существует по этому поводу, в частности, в американской социологии. Не потому, что не знает, куда вписаться, и не потому, что плоха его концепция. Реальность другая. Чтобы мы могли действительно куда-то вписаться, наша реальность должна иметь собственную теоретическую социологию.

То же самое и с Грушиным. У него очень интересная, а главное – очень энергичная позиция по отношению к общественному мнению (сейчас мы ее наблюдаем в реальности). Он считает, что общественное мнение – это не то, что думают люди, а то, что формируется. Он усиленно, плодотворно работал над этой концепцией, получал интереснейшие результаты. Но опять-таки это его самоделка, в том смысле, что он не мог взять что-то из теории американских средств массовых коммуникаций и с этим работать в эмпирическом плане. Нет, он был вынужден изобретать сам.

– *Значит, каждая реальность требует своей социологии?*

– Нет, но наша-то – это не просто страновое различие. У нас другая цивилизация, в самом фундаменте – другое. Теперь-то мы все это чувствуем. И все-таки социология у нас развивалась бурно – достаточно посмотреть публикации. Был совершенно невероятный всплеск. Но она могла бы развиваться и гораздо лучше, если бы не два обстоятельства. Об одном я сказала, но главная ее беда была в том, что она возникла и продолжала существовать как форма диссидентства. Это я знаю изнутри.

– *Некоторые утверждают, что социологии 60-х как раз удалось избежать диссидентства.*

– Каждый, видимо, будет давать свою интерпретацию. Как я это понимаю? Диссидент – это человек, живущий в социальной среде, которую он не приемлет. Так скажем. Может быть, была другая социология где-то в провинции или в вузах. Но в Институте социологии преобладали именно такие настроения. Шло особого рода отслеживание. Мы все знаем, что если работаешь над какой-то проблемой, то и в голове зацепляется то, что относится к этой проблеме. Смотришь телевизор, читаешь литературу – идет такой отбор. Вот в головах зацеплялось все, что могло служить разрушению системы – это я и называю диссидентством. Я не хочу приводить примеры, потому что они будут случайными и не характерными. В Институт социологии приходили многие люди, в том числе и не из Москвы. Планируют какое-то исследование, приходят за консультацией или советом. Тема, скажем, звучит, естественно, безотносительно политики; смотришь методику, анкету и видишь какой-нибудь вопрос типа «Вы за советскую власть?».

– *Тогда, в 60-е годы?*

– Нет, я говорю условно. Но я же социолог, я же вижу, о чем вопрос. Спрашиваю: «Зачем это? Ведь ты исследуешь, предположим, мотивацию труда или отношения в коллективе. Что добавит этот вопрос?».

На самом деле, вроде бы ничего плохого в том нет, но если голова цепляет только одно, значит все остальное в ней уже не откладывается. Человек нацелен не на то, чтобы понять, а на то, чтобы показать, как все плохо. Это две совершенно разные задачи.

– *А если он уже понял и хочет каким-то образом способствовать изменениям?*

– Для того, чтобы изменить, нужно знать, с чем имеешь дело. Все наши проколы сейчас продиктованы тем – по моему, это уже очевидно, – что мы не знали реальность. Вернее, знали, что действительно плохо и т.д. на уровне, так сказать, практическом. Но наука-то ведь должна знать нечто другое, по-своему. Она должна предложить какое-то описание этой социальной системы на современном уровне. Каким образом? Чтоб она сказала: «Эта система состоит из таких-то элементов, между ними такие-то и такие-то связи; при таком-то воздействии, входе в эту систему вот эти элементы будут вести себя так-то, а те – так...» Тем не менее в нашей социологии не сделано даже первоначального описания социальной системы, в которой мы жили. Таких работ не было. Даже попыток. Единственная попытка, какую я знаю, это описание «зияющих высот» А.Зиновьева.

– *А насколько это было возможно в те годы?*

– Многие пытаются сейчас представить дело таким образом, что главная проблема тогда была – это чтобы тебе разрешили и напечатали. Главная же проблема – понять истину, прежде чем обращаться в издательства. Ее же надо найти, то есть провести огромную, системную эмпирическую работу, понять, как устроена изучаемая система и дать объективное, безоценочное ее описание. Не было таких разработок. Я варилась в этой каше все время и никогда не слышала, чтобы кто-то всерьез пытался представить, описать существовавшую у нас социальную систему как действующую, но принципиально отличную от социальных систем, преобладавших тогда (и сейчас) в мире. И не надо ссылаться на неизбежную вроде бы идеологическую зависимость. Т.Парсонс, например, прекрасно описывает свою систему, и идеологическая включенность ему не мешает. Он, скажем, пишет: почему много преступлений? – у нас их всегда будет много, раз в обществе статус человека определяется богатством; все богатыми быть не могут. То есть человек видит систему изнутри, он ее не ругает, не хвалит – он ее описывает. Он изложил свое представление в теории социальной системы. Прекрасная теория, прекрасно работает. Почему мы не могли? Не хотели. Не интересовало это нас. Экономисты в этом отношении работали, на мой взгляд, более

честно, более профессионально как ученые. А наши социологи избрали своим направлением социальную критику – и все.

Экономисты тогда пытались пройти, как я говорю, «огородами». Им не дали построить политэкономия – они занялись математическим моделированием (хотя несколько и преувеличивали его роль). Мы все прекрасно понимаем, что не зря же Левада после Института социологии оказался в ЦЭМИ. Это тоже было определенное интеллектуальное направление. Люди работали профессионально, а не занимались только тем, что рассказывали, как все плохо. И наработывали очень много.

Тут самое время вернуться к тому, в чем мне повезло, когда пришлось уйти из Института социологии. В основном наша работа, по сути, была учебой, хотя внешне выглядела как самостоятельная научная работа. Помню, в каком-то из первых институтских сборников была большая моя статья, и Лапин считал, что это статья научная. А на самом деле – чистый реферат студента или аспиранта. Такие статьи писали мы все, и это было формой учебы. Она шла очень интенсивно, успешно, в том смысле, что люди умнели на глазах. Но на этой учебной работе некоторые сумели выйти на серьезный научный уровень – на самый высокий вышел (и раньше других) Ядов. Я считаю, что в смысле профессиональном он у нас фигура номер один, несмотря на то, что тоже склонен был к диссидентству (и из его лаборатории, чем его попрекали, люди уезжали за рубеж). Но у него был очень хороший коллектив, и они очень хорошо работали. А главное – эмпирически. Эмпирия – великая вещь, можно наговорить что угодно, а она покажет, что все совсем наоборот. Поскольку с самого начала им была присуща вот эта эмпирическая научная корректность, то и удалось достичь многого. Ядов действительно немало сделал и делает сейчас. Я, правда, считаю, что он по своим настроениям весьма идеологизирован, но есть у него черта, которую я больше всего ценю в своих коллегах: интеллектуальная честность.

Если подводить итог работы социологов 60-х в целом, я бы сказала так: они в ударные сроки, с огромными трудовыми усилиями все-таки – пусть любительски, пусть односторонне – овладели современной социологией, вышли на некий уровень, выделив из своей среды людей, которые что-то умели делать и действительно смогли внести определенный вклад в науку. Но некоторых драматических перекосов не удалось избежать. И, к сожалению, я не очень вижу, чтобы эти перекосы выправлялись сейчас.

Вот я все время контактирую с Владимиром Александровичем по поводу его проекта «Идентификации». Сам он, может быть, в меньшей степени, но некоторые его коллеги – способные, знающие, умные люди – опять-таки работают в определенном заданном коридоре в основном американских теорий. Мне кажется (я затрудняюсь сказать, что за этим стоит), у социологов совершенно непреодолимый страх перед тем, чтобы спокойно взглянуть на реальность и попытаться ее понять. Наша социология оказалась в драматическом состоянии, придя к переделке общества без теоретического осмысления того, каким оно было. А если ты не понимаешь, что переделываешь, то никогда не поймешь, как его переделывать и во что – у тебя нет исходной позиции. Это задача, которая не имеет решения.

Действительно, в Соединенных Штатах первичный элемент – отдельный человек. А что такое первичный элемент в нашей постсоциалистической системе? Это туманно. Я, например, читаю некоторые статьи, в которых как о бесспорно положительном менталитете говорится об индивидуализме и т.д. Но надо же просчитать, какие «за» и «против» имеет именно индивидуалистическое построение общества. Просчитать и посмотреть, и хотя бы изложить. Тем более, что в мировых разработках такого системного, обобщающего характера, когда речь идет действительно о вариантах развития цивилизации в целом, индивидуализм вовсе не

обязательно оценивается с плюсом, а коллективизм – с минусом или наоборот. Просто это один вариант вот с такими нитями, а это – другой.

– *Но ведь всегда в переходное, кризисное время проявляется некая поляризация, прямолинейность.*

– Да, в политике, идеологии, взаимоотношениях людей, в чем угодно действительно проявляется поляризация. Это происходит в любой напряженной системе. Но наука для того и существует, чтобы этому противостоять. Сказать: «Ребята, вы там разберитесь, я спокойно посчитаю, но коэффициент не получается».

– *А вы уверены, что все можно просчитать?*

– Вот почему я благодарна Руткевичу, который выгнал нас из Института социологии. Известный наш «опекун» из ЦК Квасов сказал тогда: «Пусть годок погуляет без работы, придет в себя, тогда мы ее устроим».

– *За что же он так?*

– «Сомнительных» статей у меня было, ну, может, две, ну еще одно неудачное выступление по телевидению, где я «грохнула» какую-то цифру. Недавно нашла бумажку, которая пришла после этого в институт – просили со мной разобраться. Когда нас провалили на ученом совете, меня спрашивали про те две статьи в «Вопросах философии». Одну из них – «Уроки западной социологии» – пропустил еще Митин (кстати, не искалечил совершенно, только поменял везде «западную» социологию на «буржуазную»). Вторая – «Проблема человека в западной социологии» – шла при Фролове. Мы хотели куда-то устроиться всей группой, не получалось. У нас телефон не умолкал, все спрашивали, не нужно ли чем помочь и т.д. Говорят, что В.Н.Кудрявцев (даже не разговаривая с нами) уже куда-то ходил и получил разрешение взять нас в свой Институт предупреждения преступности. Нас приглашал Б.Ф.Ломов, мы беседовали, и он готов был предложить нам работу, но ему не разрешили в ЦК. Потом еще где-то не разрешили, и мы в общем были уже немножко в панике. Единственный человек, который мог позволить себе не оглядываться на все распоряжения ЦК, был Гвишиани, зять Косыгина. Он нас спокойно взял. Так мы оказались в Институте проблем управления.

Институт технический, половина вообще за железными дверями (где отрабатывались программы запуска ракет), другая половина – организационщики, многие из которых проходили стажировку в США, и сильнейшая школа прикладной математики, очень сильное направление математического моделирования. Мы попали в среду высокообразованных профессионалов, которые хорошо нас встретили. Но очень быстро мы поняли, что если хотим как-то вписаться в этот институт, то должны показать, что знаем и что умеем. Прекрасно помню огромный институтский зал, где я читала лекцию «Социология личности». Слушали меня хорошо (люди больше всего любят, когда рассказывают о них самих). Но тут были явно нужны не только рассуждения. Я включилась в работу над проблемой принятия решений, меня свели с аспирантом, который «строил» эту теорию (предполагалось, что я могу нечто добавить с точки зрения социологии). Первая моя реакция как такого кондового, традиционного социолога, да еще советской закваски – разъяснить, что все гораздо сложнее: «Ну что такое ситуация? Это не есть нечто объективное для человека, это восприятие им ситуации, это прежде всего положительная и отрицательная валентность»... И идет такой гуманитарный «накат» – надо посмотреть то, продумать пятое, десятое. А аспирант ничего конкретного для своей модели не получает. И так приблизительно полгода. Я никак не могла понять, что для меня это тупиковый путь. Они без меня обойдутся. Теория принятия решений существует давно и прекрасно работает. А мне для себя нужно сделать какие-то выводы – предложить им свою теорию принятия решений, построенную на других постулатах. Что я и сделала в своей книге.

Если бы я не попала к этим упрямым, но мягким и вежливым управленцам, я бы никогда этой книги не написала. Почему я подчеркиваю, что они мягкие и вежливые? Они никогда меня не оскорбляли. Если бы оскорбили, я бы, наверное, «зациклилась» на своей точке зрения, приобрела бы некий комплекс, и уже бы меня не сдвинуть. Все, что я сделала потом в этой области, что мне дорого – благодаря тому, что эти математики, управленцы научили меня дисциплине мышления. Они отучили меня от рассуждений типа «с одной стороны, с другой стороны, а как на самом деле – еще не известно», и тем более от того, чтобы считать эти рассуждения неким научным результатом.

Для чего я это говорю? В среде социологов существует такое направление (к которому я сама принадлежала и на эту тему даже писала статьи), что у гуманитарной науки, в частности, философии и социологии, такие объекты или предметы исследования, которые не могут быть принципиально просчитаны, не могут быть подвержены не только количественному, но и научному анализу вообще. Но почему? Современные гуманитарии рассуждают о том же менталитете, но менталитет – это то, что меряется такими-то и такими-то переменными, эти переменные меряются такими-то и такими-то методами. Посчитаем. Дадим экспертные оценки. Иначе бессмыслен разговор.

Тем более социологии не обойтись без эмпирии. Везде, где можно хоть как-то привлечь эмпирию, ее нужно обязательно привлекать. При одном условии: если и выборка, и опрос проведены корректно. И не беда, если автор, проводящий данное исследование, не пришел к каким-то выводам, не сумел приподняться над цифрами. Существует вторичный анализ. Дело не в том, что есть какой-то теоретик, который может осмыслить эти исследования. Очень часто осмысление приходит в результате того, что человек вдруг видит другое исследование на сходную или ту же тему с другими данными и т.д. Вполне возможно, что когда он их сопоставит – произойдет качественный скачок: «Вот в чем дело, оказывается». Для того чтобы приходило это умение осмысливать, человек должен не просто постоянно работать – он должен иметь материал. Сейчас исследования очень дороги, следовательно, каждое приобретает особую ценность. Главное – чтобы не было неряшливости и вранья, чтобы не ставились вопросы, в которых заложены подсказки, подталкивания и т.д. Вот в чем беда.

Если бы меня спросили, что сейчас самое важное для социологии, я бы сказала, конечно, – честность. Или мы будем предельно честно заниматься своим профессиональным делом или вообще скоро превратимся во что-то такое, что никому не нужно. И это будет справедливо.

– *Нина Федоровна, а какие воспоминания остались у вас об академике Румянцеве?*

– Мне кажется, это был человек очень хороший, честный, добрый. Конечно, любой статус, любая профессия накладывают некоторые ограничения не столько на характер, сколько на честность. Он был близок к идеологии и т.д. Но я считаю, что мы друг другу не судьи. Алексей Матвеевич очень много сделал для социологии – без всякого сомнения. Ошибка его состояла в том, что он согласился (я не знаю всей кухни, как это произошло) на двух конфликтных своих заместителей. Может быть, он не сознавал, во что это выльется, а может, был вынужден. Но ситуация в институте в результате этого, конечно, была не самой лучшей, хотя в чем-то она имела и плюсы.

Эта конкуренция, попытки Бурлацкого переманивать кого-то от Осипова в каком-то смысле были и на пользу. Сразу выяснилось, кого пытаются перетянуть, а кого не пытаются. Такая псевдоконкурентная игра кого-то стимулировала. Положительный момент был и в том, что Бурлацкий привел с собой в основном не социологов, но людей, общение с которыми было на пользу (какую-то мою самую бездарную статью редактировал Анненский).

Но все-таки, думаю, это было неправильно по отношению к Осипову. Если бы он был единственным заместителем Румянцева, не чувствовал бы постоянного дыхания в общем-то серьезного соперника, с которым он вынужден был считаться – может, ему в институте удалось бы сделать больше. Когда ты знаешь, что если не угодишь своему подчиненному (который нужен тебе по работе и которого ты ценишь как профессионала), то он сбежит в другую половину института – это не помогает в работе и спросить, как нужно, не можешь.

Но в то же время чем отличался Румянцев? У него было такое ценное качество: он мог что-то сказать, посоветовать, он вел себя свободно, не ограничивал себя, но довольно верно определял тот рубеж, где начиналась социология как специальная наука, и я не помню случая, чтобы он пытался вмешаться в какие-то содержательные вещи. В этом большая мудрость руководителя. Не в том, чтобы не вмешиваться вообще, но точно знать, где та линия, за которой ты не мешаешь. С другой стороны, Румянцев никак не препятствовал той некритической ориентации на американскую социологию, о которой я говорила. Каким-то образом откорректировать это он не смог. Возможно, от недостатка специальных знаний, а может, не придавал значения или считал, что это необходимый этап.

Я с трудом представляю, чтобы кто-то мог вспомнить об Алексее Матвеевиче плохо. И его роль обозначилась с самого начала – быть человеком-щитом. Не все могут ее выполнять, к тому же она не очень благодарная.

– *Могла ли иначе сложиться судьба института, приди, скажем, на смену Румянцеву не Руткевич, а кто-то другой?*

– Чтобы ответить, нужно знать, кто был бы этот человек. Я думаю, из наших, так сказать, столпов социологии все тогда могли претендовать на это место. Но если говорить о реальных людях – мог ли кто-нибудь скорректировать ту линию и превратить институт социальной критики в институт социологии? Я однозначно говорю: нет. Одни бы не захотели, другие – не смогли, потому что это потребовало бы очень большой и довольно жесткой работы. Проблема была не в том, чтобы навязать людям определенную идеологию или теорию. Нужно было заставить их работать в том жестком режиме, в каком сплошь и рядом приходится работать сейчас. Тогда нередко приходилось слышать, что институт занимается болтовней и не занимается делом. Это и правда и неправда, потому что «в болтовню» наверняка попадали и труды Левады и, скажем, работы Ионина по феноменологической социологии и т.п. Это вопрос весьма не простой – заставить людей работать, но в то же время не загнать в тупик тех, кого называют «генераторами идей». Если в коллективе один творческий человек, предположим, на десять остальных, то говорят: девять-то надо уволить, а того оставить. Но эмпирически доказано, что когда начинаются сокращения и прочее, одним из первых увольняют именно его. Эта проблема довольно подробно исследована в социологии науки и в науковедении, и обнаружилась на самом деле тупиковая ситуация.

– *Какая содержательная, теоретическая или методологическая проблема является сейчас, на ваш взгляд, основной для социологии?*

– Для социологии в целом – «затрудняюсь ответить». Зато абсолютно точно знаю, в чем она состоит для моей области, для социологии (да и психологии) личности. Здесь жизненно необходимо выходить на уровень мышления в естественных науках, прежде всего – в физике. И не внешне, не в том смысле, чтобы сравнивать человека с «социальным атомом», как Дж.Морено, или вслед за К.Левином приписывать «валентность» человеческому восприятию ситуации. Настала пора перейти к серьезному усвоению того стиля, точнее, аппарата мышления, которым располагает современная, неклассическая физика и теория сложных систем. Речь идет об

овладении, свободном оперировании такими категориями, как дополнительность, неопределенность, случайность, неустойчивость, целостность и т.п. Без них мы ни на шаг не сдвинемся в понимании человека и его поведения. Тем более – в переходных, нестабильных социальных системах.

... А не повезло мне в том, что я слишком поздно поняла, почувствовала свою ответственность как советский человек, социолог и россиянка. Не надо было плыть в этой диссидентствующей реке, такой интеллектуально-уютной, элитарно-заманчивой. Не здесь надо было учиться отношению к жизни, к людям и к своей профессии. Тогда можно было бы стать по-настоящему нужной для своей страны и для моего народа.